



Евгений Михайлович Анташкевич
33 рассказа о китайском
полицейском поручике Сорокине

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4991347

33 рассказа о китайском полицейском поручике Сорокине / Е.М. Анташкевич: Центрполиграф;
Москва; 2013
ISBN 978-5-227-04165-4

Аннотация

Эта книга написана как расширение романа «Харбин». Город в Китае стал настоящим спасением для тысяч российских беженцев. Не так давно, когда к представителям русской эмиграции относились как к «белобандитам», историю Харбина предпочитали замалчивать. Автор книги – ветеран спецслужб, китаист – попытался облечь в художественную, и потому интересную большинству читателей, форму реальную, насыщенную событиями жизнь уникального геополитического анклава.

Содержание

Пролог	5
Фляжка	14
Синий пион	36
Штин	47
Фуцзядянь	71
Улица Садовая, 12, угол Пекинской	79
Конец ознакомительного фрагмента.	81

Евгений Анташкевич

33 рассказа о китайском полицейском поручике Сорокине

*Лёгкой жизни я просил у Бога:
«Погляди, как мрачно всё кругом».
Бог ответил: «Погоди немного,
Ты ещё попросишь о другом».*

*Вот уже кончается дорога;
С каждым годом тоньше жизни нить:
«Лёгкой жизни ты просил у Бога,
Лёгкой смерти надо бы просить!»*

И. Тхоржевский

После окончания работы над дебютным романом «Харбин» у автора осталось неиспользованным много впечатлений и материалов о событиях и людях в китайской столице русского рассеяния.

Судьба главного героя «33 рассказов» русского поручика Сорокина похожа на штормовое море, в котором выжить было так трудно, что временами почти невозможно. Он терял близких, терялся сам, потом невероятным образом оказывался на поверхности. Об этом можно писать многотомные произведения, и они написаны – мемуары есаулов, штабс-ротмистров, полковников и генералов, статских советников, гласных городских дум и присяжных поверенных, дневники их жен; переработанные и осмысленные их детьми – разные по стилю, похожие в одном, – все они прошли через самую большую в истории русского народа беду – изгнание и утрата Родины. Они были солдатами проигравшей империи. А может быть – империй.

Их победили...

Если Бог даровал жизнь, надо жить.

И.И. Штин

Посвящается моей дочери Анастасии

Пролог Встреча

Михаил Капитонович опёрся правым боком о прилавок и смотрел на полки с пирамидами банок с красной икрой, крабами и горбушей. Под нижней полкой на полу стояли липкие даже на взгляд и пыльные стеклянные бутылки с подсолнечным маслом; видимо, когда их перевозили или в ящиках перекидывали с борта на прилавок, какая-нибудь разбивалась, обливала остальные, а потом они пылились от долгого стояния.

Уже больше года Михаил Капитонович ходит в эту орсовскую лавку и помогает хозяйке разгружать товар. Он наизусть знает драные коробки с «Беломором», мятые консервные банки, пятикилограммовые брикеты в вощёной бумаге с леденцами-«подушечками», пыль от макарон и дорожки просыпанной из худых мешков муки, но он так и не понял, почему бутылки с подсолнечным маслом, когда бы ни привезли новый ящик, всегда были липкие и пыльные. Особенно его раздражали промасленные полупрозрачные этикетки на них, с расплывшимися, почти неразличимыми жёлтыми головами подсолнухов. А Светлана Николаевна, продавщица и фактическая хозяйка этой лавки поселкового отдела рабочего снабжения, не могла на них нахвалиться: мол, а на материке как разливали масло по бидонам, так и разливают, а тут что-то новенькое, что-то, что так редко происходит в этом далеке. С другой стороны, правда, не уворуешь, но зато – оригинально, и это её радовало.

– А не забыли, завтра у вас именины, – тихо и скромно, глядя из-под русой чёлки, произнесла Светлана Николаевна, заворачивая и укладывая в авоську брусок только что отрезанного, похожего на солидол яблочного мармелада. Сказав это, она положила в авоську банку икры, банку горбуши, кирпич серого хлеба и бутылку водки; бутылку обтёрла чистой тряпичкой и дунула на коричневую сургучную головку.

– Не забыли?

«Отчего же я должен забыть?» – подумал Михаил Капитонович.

Светлана Николаевна, не отводя от него глаз, оторвала кусок обёрточной бумаги, свернула из него кулёк, посмотрела в сторону стоявшего позади Михаила Капитоновича мужчины, потом присела за прилавком и стала что-то накладывать в кулёк. Михаил Капитонович услышал сухой шелест: «Свежий лук! Это по-царски!» Он положил на стол мятые деньги и брякнул в тарелочку всю мелочь, которая была у него в кармане. Светлана Николаевна отсчитала сдачу, он взялся за плетёные ручки авоськи и тоже оглянулся на мужчину за спиной. Мужчина зашёл в лавку через несколько минут после него, встал к прилавку и, пока Светлана Николаевна обслуживала Михаила Капитоновича, молча стоял и осматривал полки с продуктами. Михаил Капитонович видел его в посёлке первый раз.

«Командированный или такой же, как я?» – подумал он, но внешний вид вошедшего не подтвердил его догадок. А он его и не разглядывал, особенно было нечего: мужчина был одет в старый, поношенный серо-коричневый пиджак и заправленные в кирзовые сапоги гармошкой городские брюки, на воротнике пиджака белел отложной сатинетовый воротник сорочки, а на голове сидела скошенная на правый висок серая кепка.

– Так не забыли?

– Нет, нет, Светлана Николаевна, завтра приходите! А сыру не привезли? – спросил он.

– Не привезли, Михал Капитоныч, хотя... – она кивнула на стоявший на столе под нижней полкой чёрный телефонный аппарат с перекрученным проводом, – я каждый раз заказываю, что в списке написано, – и она показала на приклепленный к ребру полки листок бумаги, на котором под синюю копирку был напечатан какой-то вертикальный список, – я заказываю, а они чё привезут, то и привезут, но завтра обещали.

– Это было бы кстати! А вы приходите! – ещё раз повторил ей Михаил Капитонович, приподнял шляпу и повернулся к двери. Светлана Николаевна смотрела на него, пока он не скрылся за дверью, после этого перевела взгляд на мужчину.

Михаил Капитонович вышел на крыльцо и шагнул на мосток, тот сыграл своим дальним концом и ударился о следующий мосток. В посёлке эти мостки называли «трату...», «троту...», глядя на лежащие три длинных серых доски, сбитые снизу тремя короткими, Михаил Капитонович, как всегда, додумал: «...арами». Такими мостками-«тротуарами» были вымощены улицы посёлка.

Несколько лет назад, когда Михаил Капитонович ещё сидел придурком в канцелярии, кум, чувствуя в нём родственную душу и зная из следственного дела биографию зэка «Сорокина М.К.», как-то рассказал, что, когда ездил в управление на совещание по реабилитации, начальники показали дело на трёх страничках. На первой страничке в правом верхнем углу была написана резолюция: «Такого-то и такого-то (имярек), раз... (перечеркнуто), рас... (перечеркнуто), вбить к ё...ной матери!» Кум по этому поводу недоумевал: мол, какой неграмотный народ работал в 30-х годах в НКВД. Сам же он гёкал на суржике и не мог выговорить слово «рекогносцировка»: у него получалась «рэйганасцироука», а его коллеги не знали твёрдо, как правильно писать: «тратуар» или «тротуар». Это была одна из великих магаданских загадок. А мужик – кум – в общем-то был добрый, на зэков орал громко, но не бил больше трёх раз в одно и то же место. Михаила Капитоновича он ни разу не ударил вообще. Всё-таки чувствовал в нём родственную душу.

– Михал Капитоныч! – вдруг услышал Сорокин за спиной. Он вздрогнул. «Михал Капитонычем» здесь его могла назвать только Светлана Николаевна, но голос за спиной был мужской. Он не стал оборачиваться.

Как он не любил этот новый русский язык. Он столкнулся с ним в сентябре 1945 года, сразу, как только попал в СССР, и всегда после этого старательно избегал разговорных сокращений в именах и отчествах и таких слов, как «зона», «хозяин», «зэк» или «зэчка», «кум». В особую ярость его приводило слово «вертухай». Это было так по-советски. А интеллигентные люди, которые отбывали вместе с ним, из советских же, пользовались этой лексикой, и даже с некоторым шиком. Его это раздражало. Для него, профессионала, «зона» была тюрьмой, «хозяин» – начальником тюрьмы, «кум» – опером в тюрьме, «зэк» и «зэчка» были заключенные, а «вертухай» – просто надсмотрщик. Поэтому, когда он услышал за спиной «Михал Капитоныч», он вздрогнул, неприязненно пожал плечами, но не обернулся и ступил на следующий мосток.

– Михаил Капитонович! – Сейчас его имя и отчество были произнесены правильно. Он обернулся.

На крыльце орсовской лавки стоял мужчина, в одной руке он крепко держал блестящую натёртую ручку не зэковского, не фанерного, а настоящего фибрового чемоданчика, а в другой смятую советскую кепку с переломленным козырьком.

Михаил Капитонович приподнял шляпу:

– Чем могу?..

Мужчина шагнул на мосток, тот у него под ногами сыграл так же, как несколько секунд назад сыграл под ногами у Михаила Капитоновича.

– Вы ведь Михаил Капитонович Сорокин? Я не обознался?

Сорокин коротко кивнул.

– А я Гога! Гога Заболотный, вы меня не помните?

Они сидели на берегу неширокой, быстрой, с каменистым дном речки под названием Таскан. В полусумраке началоиюльской северной белой ночи на поверхности струящейся

воды были видны волны, кручёнными нитями расходившиеся от барашка белой пены в том месте, где из воды выглядывало первое, самое большое кольцо мордуши.

– Ну что, проверим ещё раз, если что заплыло, чистим и кидаем в ведро? – спросил Михаил Капитонович.

– Я почищу, – ответил Гога.

– А остальная у нас уже чищенная и только и ждёт своего часа!.. Подбросьте травы посуше и свежей, вон люпинов нарвите, пусть дымят, а то комары не дадут покоя!

Гога встал, поднялся к дороге и стал резать ножиком высокие, похожие на пирамидки, сплошь усыпанные мелкими сиреневыми цветами люпины.

– Хватит? – крикнул он и поднял в руке похожую на букет охапку.

– Рвите, рвите, лишним не будет, или режьте, если есть чем...

Михаил Капитонович разулся, снял брюки и пошёл к реке. По плоской, гладко отполированной гальке он дошёл до глубокого места и поднял мордушу. В ней трепыхались помельче штук пять хариусов и покрупнее три ленка; он подтащил за большое кольцо мордушу ближе к берегу и по одной перекидал рыбу.

– Вы там возитесь с травой, пока бросьте это, идите чистить, и можно ставить уху.

Гога нарезал ещё такую же охапку, вернулся и всю бросил в огонь.

– Экий вы какой расточительный, – распрямляясь от мордуши, сказал Михаил Капитонович. – Надо подбрасывать понемногу, тогда надольше хватит. Вы те, что сверху, отложите, пока не загорелись, и давайте-ка начинать, а то мои именины уже настали.

Гога, Игорь Валентинович Заболотный, прихватил обеими руками лежавшие сверху и уже подпускавшие из-под себя дымок люпины и отбросил их в сторону. Он распрямился, вытер о штанину нож и пошёл на берег, где на гальке била хвостами выловленная рыба.

– Я, знаете ли, Михаил Капитонович, всего несколько лет назад, когда удавалось поймать такого красавца, – он взял под жабры и поднял самого большого ленка, – ел их живьём, не чистя и без соли.

Михаил Капитонович оттащил мордушу обратно и придавил кольцо тяжёлым камнем ко дну. Потом прошёл вдоль неё и проверил, придавлен ли её конец. Оттуда ответил:

– Самое верное средство от авитаминоза, а наличие соли – это уже кулинария, знаете ли! Но сейчас у нас всё есть – и соль, и даже перец.

– Светлана Николаевна?

– Она, хвали её Господь! – Михаил Капитонович выбредал из воды, он вышел на сухое, уселся на береговую гальку и стал надевать носки. – Если бы не она... – кряхтя, сказал он.

– А который час? – спросил Гога и глянул на серое нетемнеющее небо.

– Уже половина первого, поэтому я и сказал, что мои именины уже настали.

Гога почистил ленков, ополоснул и положил в кипящую воду, потом то же сделал с хариусами и вопросительно посмотрел на Михаила Капитоновича.

– Соль вон в кульке, видите, рядом с кошёлкой, из газетного листа, там же несколько листиков лаврентия...

– А лаврентий, Михаил Капитонович, в данном случае пишется с большой буквы или с маленькой? – Глаза у Гоги смеялись.

– Господь с вами, шутить изволите, в этом слове букв вообще никаких нет, одни звуки.

– Ну да, ну да! – Гога с ухмылкой бросил в ведро несколько ложек соли и лавровый лист.

– Да вы там особо ложкой не шурудите, рыба нежная, закипит, и минут через пять снимайте с огня!

Михаил Капитонович оправил брючины и потопал сандалями.

– Пойду глушану разок.

Он пошёл по берегу вверх по течению, по дороге выбрал большой камень, прошёл с ним ещё несколько шагов, поднял и с силой бросил в воду. Камень упал, поднял брызги, брызги тоже упали, и круги на воде вытянулись в овалы и через несколько метров пропали.

– Тут яма, они тут хороводятся.

Он вернулся и сел у костра.

– Они стоят в яме, а сейчас, несколько оглушённые, уже плывут в нашу мордушу. Если не хватит, можно будет ещё.

Гога снял с костра закопчённое ведро и отнёс его на гальку ближе к воде.

– Жаль, нет крышки, сейчас бы минут за десять натянуло, и был бы дух на всю округу.

– И так натянёт, хотя крышка была бы кстати, сейчас туда мошки и комара набьётся, – сказал Михаил Капитонович и разрезал пополам большую луковицу. – А вы картошку бросили?

– А как же, в первую очередь! Тоже Светлана Николаевна?

– А кто же ещё? Если вы не всю бухнули в ведро, можно будет запечь! Как вы относитесь к печёной картошке?

– Спрашиваете, я же костровый!

– Бойскаут?

– Ну, почти! У нас в гимназии Христианского союза молодых людей не было... – На Гиринской?

– Нет, но близко, на Садовой, почти угол Ажихейской, не было бойскаутов, было «костровое братство».

– По сути то же самое...

– Конечно! Так для нас летом не было вкуснее ничего, чем печёная картошка. До сих пор её вкус не могу забыть.

– Сейчас вспомним, ушицы похлебаем и вспомним вкус печёной картошки!

Гога отошёл от костра, открыл чемоданчик и достал бутылку водки.

Михаил Капитонович посмотрел и сказал:

– Начнём с моей! – И он вынул из авоськи стеклянную флягу в толстом кожаном чехле.

Три или три с половиной часа назад, когда Сорокин вышел из орсовской лавки перед самым её закрытием и направился домой, его окликнул мужчина лет сорока – сорока трёх и сказал, что он Гога Заболотный. Михаил Капитонович узнал его не сразу, а когда узнал, удивился.

В конце позапрошлого года Михаил Капитонович Сорокин освободился из заключения, получил справку, съездил в Магаданское управление Колымлага, и там ему выдали его вещи, в которых он был арестован в Харбине в августе 1945 года. Такая сохранность его удивила, но он почти всё выкинул, кроме шляпы. Шляпу оставил. Потом, не зная, что делать и как поступить, ехать или не ехать на материк, он решил, что надо сначала привыкнуть к воле, и поехал в глубь Магадана. Одиннадцать месяцев назад он приехал сюда, в посёлок Эльгён, который стоял на самом краю обжитого людьми и лагерями магаданского пространства; пришёл к бывшей начальнице оперчасти располагавшегося в посёлке до расформирования женского лагеря, подал ей справку и обратился с просьбой разрешить на какое-то время остаться. Его расчёт был таков: на материке у него никого нет, и он никого не знает, поэтому он поживёт тут, где ему всё знакомо: и люди, и климат, и порядки; а потом решит, что делать дальше. Так ему посоветовал его знакомый, отбывавший срок известный в СССР эстрадный певец Вадим Алексеевич Козин, – после освобождения остаться «на Магадане». Эта идея постепенного вживания пришлась Сорокину по душе, и он решил не торопиться. Прежде чем куда-то ехать, а ему были запрещены для проживания семнадцать городов, в

том числе и его родной Омск, надо было узнать, как эта страна и этот народ живёт на воле. Как советские люди жили в неволе, он знал.

Бывшая начальница оперчасти, а ныне председательша поселкового совета ничуть не удивилась, видимо, таких, как он, боявшихся или опасавшихся малознакомой свободы, было немало, и разрешила, а под жильё отвела брошенную избу на окраине посёлка. Наверное, у неё в голове была ещё одна мысль: основу посёлка составляла недавняя женская зона, в ней содержались родственницы «врагов народа», и сейчас Эльген был населён в основном женщинами. На вид Сорокину было никак не дать его пятидесяти семи лет, да ещё располагала его интеллигентность, а может быть, холостая председательша имела в виду что-то ещё, да промолчала.

После расформирования лагеря посёлок Эльген опустел, почти все «врагини народа» разъехались, остались только те, кому было некуда ехать, да те, кто прижился. Такой или почти такой была заведующая лавкой ОРСа Светлана Николаевна Семягина, совсем даже не врагиня, а то ли жена, то ли вдова – то ли начальника лагеря, то ли заместителя начальника лагеря. После ликвидации зоны муж исчез, потому что опасался, что «порвут», и пропал. По крайней мере, Светлана Николаевна за всё время не получила от него никаких известий. Она стала заходить в избу Михаила Капитоновича, он же к ней не зашёл ни разу – посёлок был слишком маленький.

Гога взял фляжку.

– Какая! – сказал он. – Знатная!

Белёсость ненаступавшей ночи позволила ему разглядеть, что фляжка была сделана из очень толстого стекла, поэтому она была тяжёлая; и до середины обтянута двумя половинками кожи, сшитыми тонким шёлковым шнуром, стежками, которыми шьют английские сёдла.

– Хороша!

Михаил Капитонович взял фляжку, вынул пробку и попросил Гого, сидевшего ближе, достать из авоськи завернутые в газету стаканы. Он налил.

– Ну что, приступим?

– С именинами, Михаил Капитонович!

– За встречу!

Они выпили и закусили свежим луком, нарезанным четвертинками.

– Как же не хватало вот этого там, – сказал Гога и кивнул на север.

– А вы где отбывали? – спросил Михаил Капитонович.

– В Сусумане...

– Тогда там! – И Михаил Капитонович кивнул на запад. – Мыли золото?

– Нет, сначала долбал шурфы, а потом, когда прислали американскую драгу, меня, наравне с вольняшками, определили механиком. Все механизмы-то были американские, а я по образованию инженер-электромеханик... – Закончили?..

– Харбинский политехнический!

– Понятно! – Михаил Капитонович отгрыз от четвертинки луковицы и окунул ложку в уху. – Горячая ещё. – И он стал на неё дуть. – Подбросьте, если не трудно, в огонь травы.

Гога встал и бросил в костёр охапку уже подвявших люпинов.

– А вы? – спросил он.

– Я-то? – Михаил Капитонович снова налил. – Я тоже в Сусумане, только у нас был специальный лагерь, особый, очень маленький, на один барак. Нас сидело человек сто – сто пятьдесят, разных пособников, карателей, полицейских и так далее.

– А-а-а, – протянул Гога, – понятно, это про вас рассказывали, что вас там чуть ли не каждый день расстреливали.

– Да нет, это всё фантазии. Небось уголовники стращали?

– Ну а кто же ещё?

Они выпили, хрумкнули луком и стали ложками выбирать куски сварившейся рыбы.

– Тяжело было? – спросил Гога.

– Нет! Только когда отправили на шурфы, как вас, там пришлось тяжело, а в основном мы все давали показания, двух лет хабаровских подвалов им не хватило.

– Вы тоже были в Хабаровске?

– Да! А кто из нас его миновал? Сначала год в сумасшедшем доме...

Гога посмотрел на Михаила Капитоновича.

– Да, Игорь Валентинович, в сумасшедшем доме. – Михаил Капитонович отрезал горбушку хлеба. – Вам тоже горбушку?

– Давайте, хлеб свежий. Здесь пекут?

Михаил Капитонович кивнул.

– Я, как вам сказать, в общем, лишил жизни одного хама.

При довольно звероватых обстоятельствах...

Гога перестал жевать и с полным ртом глядел на Сорокина.

– ...когда убил этого советского предателя – энкавэдэшника Юшкова, его ещё японцы звали комкором или комбригом, не помню уже, про него много писали, что он убежал от кровавого Сталина. Так я действительно слегка... – разламывая отрезанный кусок, сказал Михаил Капитонович и повертел раскрытой ладонью у виска, – как бы был не в себе, но меня не шлёпнули! Этот Юшков был для них очень нужной персоной, они хотели знать о нём всё, а лучше заполучить его живьём, а я нарушил их планы. Поэтому они привели меня в порядок, в дурдоме, а потом посадили в камеру.

– Понятно!

– В камере я им всё рассказал, а чего было таить? – Михаил Капитонович посмотрел на небо. – Уже часа два! Ничего? Не засыпаете?

– Нет, нет, что вы? Тем более у нас есть вторая!

– Вторая – это хорошо! Ну вот! А потом сюда! И снова – давать показания, даже в Магадан несколько раз возили! И так нас всех, кто там сидел! – Михаил Капитонович помолчал. – А народ там был со всего периметра Советского Союза, хотя в основном с запада, особенно с Украины.

– Да, – подтвердил Гога, – у нас таких тоже было много: и хохлов, и прибалтов, да и русских достаточно.

– Я был единственный такой грамотный, поэтому начальник оперчасти... – Кум!

– Не люблю этого слова. Начальник оперчасти взял меня к себе в канцелярию, так что сиделось ничего себе. Не злой был мужик, по фамилии Казюра Николай Алексеевич, и еда была, и тепло было, иной раз мог и водки налить, так что жаловаться – Бога гневить.

– А за что вы этого...

– Юшкова? – Михаил Капитонович снял шляпу и отмахнул ей от ведра комаров. – Наглый был, попросту говоря – хам. Хотя, в общем, погорячился я; он предлагал вместе бежать из Харбина на юг, от Красной армии, и так и надо было сделать. Сейчас бы стаптывал толстую подошву на американских башмаках, а не отгонял комаров от ведра с юшкой, а я его убил. А с другой стороны – туда ему и дорога, хаму!

Михаил Капитонович дожевывал луковицу, встал, помял в руках шляпу и сказал:

– Пойду-ка я наберу витаминов.

Гога вопросительно посмотрел на него.

– Дикого луку и чесноку.

– Хорошо, Михаил Капитонович, а я проверю мордушу.

Михаил Капитонович стал подниматься на дорогу, шляпу он держал в руках; на обочине перед тем, как перепрыгнуть через кювет, повертел её и поджал губы. Его шляпа-борсалино была очень старая, он помнил, что купил её в 1938 году, потом задавался целью купить другую, новую, но всегда чего-то не хватало, то времени, то денег, а скорее всего, не хватало цели, потому что на самом деле ему было всё равно, что за шляпа у него на голове. Удивительно было то, что за двадцать лет на ней осталась целёхонькой шёлковая лента. Она не оторвалась, не поползла, не сдвинулась, не потёрлась, только насквозь пропиталась потом, пот выступил круговой полоской, и эта полоска была как раз и навсегда проявленная тайнопись, которую уже было не закрыть, и не замазать, и не вырезать – всё равно проступит.

Минут через десять он вернулся к костру, неся в руках по пучку дикого лука и чеснока. Гога обил сургуч на второй бутылке, хряпнул её кулаком по донышку, зубами вытащил пробку и взял стакан.

– Дайте-ка мне бутылку, – попросил Михаил Капитонович.

Он взял бутылку, потом взял флягу и под улыбчивый взгляд Гоги перелил водку.

– Я, видите ли, из этой фляги выпил, если не соврать, цистерну хорошего виски и до сих пор, когда пью даже этот сучок, – он бросил бутылку рядом с недалеко лежавшей на траве первой, – всё равно, наверное, старая память подсказывает, во рту появляется привкус виски, однако давайте-ка займёмся ухой, пока она не стала ухой из комаров и мошки.

– Давайте, – согласился Гога. – А я приехал сюда из Ягодного, так там в столовой слышал забавный анекдот...

– Отвык я от анекдотов, но если этот забавный, тогда...

Гога схлебнул из ложки уху с кусочком картошки и рыбы, откусил от горбушки и сунул в соль пучок дикого лука.

– Областной чукотский суд. Судят местного жителя – чукчу! Председатель суда задаёт ему вопрос: «А скажите, подсудимый чукча, чем вы занимались в ночь с октября по март?»

Михаил Капитонович секунду думал, потом хмыкнул, улыбнулся и посмотрел на серое небо.

– Да, забавно! Хороший анекдот, главное – не глупый и жизненный! А вам никогда не приходилось бывать на Крайнем Севере, там, где живут эти чукчи?

Гога отрицательно мотнул головой.

– А мне довелось. – Михаил Капитонович дожевал хлеб и тоже макнул в соль пучок лука. – Самый северный лагерь у них был на берегу Северного Ледовитого океана, поселок Певёк, слышали о таком?

Гога кивнул.

– Меня привезли туда в начале ноября, году в пятидесятом, допросить одного американца, других переводчиков за дальностью места у них не нашлось. Так вот там я попал в самую настоящую полярную ночь. И скажу я вам, это была действительно ночь: чёрная, со звёздами, северным сиянием, красиво, но очень холодно и ветра. – Михаил Капитонович помолчал. – Вот там как люди выдерживали? Это для меня до сих пор остаётся загадкой. И – далеко! Безумно далеко! Только на самолёте туда и можно...

– Эх, сейчас бы увидеть летящий в небе самолёт, и можно было бы считать, что цивилизация всё же есть...

– А вы давно видели самолёт? – хмыкнул Михаил Капитонович.

– Самолёт? – Гога зачерпнул ухи. – Самолёт в последний раз я видел в августе сорок пятого, точнее, самолёты. На них в Харбин прилетели советские десантники, которые взяли город и арестовали японское командование.

Михаил Капитонович сдвинул шляпу на лоб, лёг на спину и потянулся всем телом.

– А как вы-то сюда попали, что за обстоятельства вынудили вас покинуть благословенный Харбин?

Гога допил каплю водки, которая оставалась на дне стакана, спросил у Сорокина разрешения, разлил из фляги, взвесил её на руке, полюбовался и положил.

– А давайте за благословенный...

Михаил Капитонович повернулся на бок и подпёр скулу кулаком.

– А давайте! Хотя когда-то я его люто и искренне ненавидел. – И он поднял стакан. – И всё же!..

– За Харбин! – сказал Гога и разом махнул. Он поморщился, прикрыл рот ладонью и сунул хлебную горбушку в соль. – Попал я сюда, Михаил Капитонович, по простоте душевной, по неопытности, по дури, по честности, даже не знаю, а вообще-то нас обманули.

Михаил Капитонович смотрел на Гогу и в ожидании ответа молчал.

– В начале сентября сорок пятого, в первых числах, вся городская знать была приглашена советским комендантом... – Вы тоже были знать?

– Отчасти! Я занимался молодёжными спортивными организациями, так сказать, входил сразу в несколько спортивных обществ, был в союзе мушкетеров, поэтому был в списках...

– Смерша?..

– Тогда мы об этом ничего не знали, но судя по всему – да!

– Что-то я слышал про эту историю, но как-то не верилось.

– Нам самим потом долго не верилось, наверное, потому, что мы-то их ждали... – Понятно!

– Так вот, пришло нас около двух тысяч, все по спискам: муниципалитет, правление жэздэ, управление жэздэ, банкиры, торговцы, ну, в общем, действительно самые известные люди, которые на тот момент жили в городе. Набралось если не две тысячи, то никак не меньше полутора, весь актовый зал южноманьчжурской дороги на Вокзальном. Все нарядные, кто-то с фляжечками, приглашали-то вежливо... Прoderжали в зале часа два. Никто к нам не выходил, а в один прекрасный момент открылась неприметная дверь и из неё вышел офицер, представился помощником коменданта города и стал приглашать по списку, прямо по алфавиту, по одному человеку, по два, самое большое по три. Мы, конечно, оживились, почти что выстроились, я был, поскольку фамилия на «З», чуть ли не в первых десятках. Я прошёл в дверь, потом был короткий коридор, а в конце открытая дверь, а за нею стоит солдат с автоматом. А когда я его прошёл и вышел во внутренний двор, меня подхватили, бегом почти донесли до открытого кузова грузовика и велели лезть в него. Там наши уже сидели, довольно много и плотно... Когда кузов заполнился, в него заскочили два вооружённых солдата, и через десять минут нас уже заталкивали в вагоны для перевозки скота. Через двое суток мы были в Маньчжурии, там стояли ночь на запасных путях; а первый раз нас покормили уже по эту сторону границы в Отпоре. Дальше вам всё знакомо: Хабаровск, порт Ванино, порт Магадан и так далее и тому подобное... История короткая, хотя, с учетом того, что прошло без малого тринадцать лет, – она же и длинная.

Михаил Капитонович долго молчал и жевал травинку.

– Да, я слышал об этом, не помню где и не помню от кого, но слышал. Правда, говорили, что были попытки сопротивления, даже вооружённого, побегов, чуть ли не массовых, что город был готов восстать...

– Чушь! Про город ничего не знаю, а только сидели мы в машинах и вагонах как мыши. Никто не пикнул. Настолько всё было сделано быстро, чётко, я бы даже сказал, не по-русски профессионально, мы очнулись, уже когда переехали границу между станцией Маньчжурия и станцией Отпор, то есть уже в СССР. Но и то, что значит – очнулись, просто поняли, что для нас настала другая жизнь! Сопротивление! Какое там?!

– Значит, не было сопротивления?

Гога хмыкнул, разглядывая фляжку.

– Не было, Михаил Капитонович! Не было никакого сопротивления.

– Забавно!

Гога поднял глаза.

– Забавно?

– Забавно, – подтвердил Михаил Капитонович. – Заманили вас, как вот эту рыбу в мордушу... – Только оглушили уже потом.

Они замолчали.

– А много харбинцев, – спросил Михаил Капитонович, – разделили вашу участь?

– Почему нашу? А вашу?

– Ну, я – особый случай! Я с ними боролся ещё в Гражданскую.

– Так многие боролись! Не знаю... по слухам...

Михаил Капитонович вздохнул:

– Вот именно что по слухам.

Гога играл фляжкой и разглядывал её.

– А откуда она такая? Я по коже вижу, что – старая.

– Считайте – старинная. Подарок.

Гога глянул на Михаила Капитоновича.

– Подарок леди Энн... А в Сусумане было много харбинцев? – поменял тему Михаил Капитонович.

– А расскажете? – кивнув на фляжку, спросил Гога, ещё раз взвесил её в руке и разлил водку.

– Расскажу. Потом. Так что с харбинцами?

– Я не встречал. Опять-таки по слухам, основную массу вывезли то ли на Урал, то ли за Урал.

– М-да! – промолвил Михаил Капитонович. – Горбушу откроем?

– Нет! – уверенно сказал как отрезал Гога. – После освобождения я наелся консервов во как! – И он провёл ребром ладони по горлу. – Лучше уж рыбку доедим, всё же свежая.

– Так остыла...

– Не страшно! Через пять минут она превратится в заливное, в желе, с детства любил.

– А как насчёт картошки?

– Вот это – давайте!

– Да уж! Раз обещано!

Они встали и пошли в разные стороны собирать выброшенные рекою на берег сухие дрова.

Фляжка

Поручик Сорокин под левой скулой почувствовал что-то твёрдое и попытался открыть глаза. Открылся только правый, и Сорокин увидел вертикально стоящий перрон. Он смотрел этим открывшимся глазом и не мог понять, как люди могут ходить по вертикально стоящему перрону, то есть он видел, что по перрону ходят люди как по вертикальной стене.

– Ваше благородие! – услышал он над головой. Он попытался пошевелиться и застонал от боли. В этот момент перрон опрокинулся, и оказалось, что люди ходят правильно. Он понял, что лежит щекою на льду и его кожа под левым глазом ничего не чувствует.

– Ваше благородие, вы живы? – Кто-то слегка тряс его за плечо. – Вставайте, чехи уже ушли.

При слове «чехи» Сорокин всё вспомнил. Он пошевелил руками, опёрся, его подхватили чьи-то другие руки и подняли.

– Иттить можете?

Он повернул голову направо, потом налево, рядом с ним стояли и держали его под руки фельдфебель Огурцов и ещё один солдат, фамилию которого он не помнил.

– Иттить можете? – повторил кто-то из них.

– Сейчас попробую, – просипел Сорокин и попытался шагнуть, но чуть не упал снова, потому что левая нога была немая.

– От же ж собаки! Человека чуть не убили!

Сорокин понял, что всё, что он слышал, говорил фельдфебель Огурцов.

Поддерживаемый с двух сторон и стоя на одной правой ноге, Сорокин снова огляделся: недалеко от него на перроне плотной группой стояли солдаты его полуроты. Он потёр скулу под левым глазом, она была немая, как нога...

– Ща малёха потрём вам скулу снежком, и она отойдёт, это даже хорошо, что на наледи лежали, фингалá не буйть! – Огурцов глянул на солдата и отпустил руку Сорокина.

Солдат крепче ухватил под другую руку, и Сорокин устоял. Фельдфебель бегом добежал до ограды платформы, зачерпнул двумя ладонями снег, вернулся и стал неистово тереть под глазом Сорокина.

– Чёрт! – вздрогнул тот. – Хорош! – через несколько секунд произнёс он и спросил: – А где полковник?

– А полковника чехи с собой увели, да вона тама, за станцией пальба была, можа, и положили полковника...

– Не ходили искать? Может, ранен, не убит...

– Не ходили, ваше благородие, чехи, пока их, то есть наш, эшелон отходил, держали нас под пулеметами, а вона и следующий на подходе... Тика́ть нада!

Сорокин обтёр рукавом мокрую щёку.

– Обыщите вокруг станции, если расстреляли, не стали бы далеко уводить!

Фельдфебель сморщился, но подмахнул руку к папахе, позвал двух солдат, и они побежали кругом станционной постройки.

«Обманет, близко кругом obeжит и доложит, что никого нет!»

Сорокин ещё раз протёр щеку, он стал её тереть сильно, и она начала гореть под грубым сукном шинели. Он увидел, что, как только что сказал Огурцов, по нечётному пути идёт эшелон и на паровозе рядом с кабиной на коротком флагштоке болтается красный флаг. «Этого ещё не хватало! Так быстро!» Он крикнул фельдфебеля, тот мигом выскочил из-за станционной постройки, как будто стоял там и только этого и ждал.

– Тикать надоть отседа, ваше благородие, из одной передряги сухими вышли, так, – он махнул рукой в сторону подходившего эшелона, – в другую попадём! Вона, на ихнем паровозе – флаг-то красный!

– А где ваше оружие?

– Эй. – Фельдфебель махнул солдатам, те расступились и открыли за собой несколько десятков составленных в козлы трёхлинеек. – Их оставили, а патроны все позабырали... – А с продовольствием?..

– Два мешка нашей же муки скинули да два короба с аглицкой тушёшкой, али ишо с чем, покуда не разобрались...

Сорокин не стал оглядываться: «Гляди не гляди, а больше, чем скинули, не будет!» Он стоял и думал.

– Тута, ваше благородие, и думать неча, до трахту, сказывали, с полверсты...

– Стройте людей! – приказал Сорокин и перекрестился.

«Что же, полковника так и бросим?»

Он глянул на приближающийся на паровозе красный флаг. – Айда, братцы! В какую сторону тракт? Кто знает?

– Так мы уж и разведку произвели, тама он! – протараторил Огурцов и махнул рукой.

Огурцов выдернул из плетня похожую на клюку кривую жердь и со словами: «Это вашему благородию навроде как третья нога будет» – сунул её в руки Михаилу Капитоновичу.

Через полчаса Сорокин с полуротой в растерянности стоял на обочине тракта. Фельдфебель опомнился первый, сначала он пошёл в одну сторону вдоль медленно движущегося обоза, потом вернулся и пошёл в другую, всё время что-то спрашивая у людей, которые сидели на санях.

– Ну вот, я всё и спознал, – сказал он, когда вернулся к поручику. – А вы, ваше благородие, Михал Капитоныч, снежком ещё скулу приложите, глядишь, синячища-та и вправду не буить. – Он нагнулся и прихватил пригоршню снега. – А то на трахте, я глянул, много барышень, хотя так все укутаны, что и не разглядишь. Одначе я разглядел.

Сорокин посмотрел на него:

– А что узнал? Как тебя по батюшке кличут?

– Михалычем, ваше благородие, Дмитрий я, Михайлов сын! А спознал-то... много спознал. Главное спознал – не ждали нас тут!

– Это понятно, что не ждали, – сказал Сорокин.

Фельдфебель глядел на него и лыбился. Сорокин больше чем за месяц пути впервые всмотрелся в него. Перед ним стоял ладный, крепко сбитый коротышка, с не сходящей с широкого круглого лица улыбкой и хитрыми глазками; смышлённый крестьянский сын. Весь путь он один командовал солдатами бывшего своего полуразбитого полка, снявшегося с Западного фронта ещё в сентябре семнадцатого и доразбитого где-то под Самарой и по непонятным причинам оказавшегося в отряде подполковника Каппеля. По непонятным, потому что когда Сорокин принимал полуроту, то выяснилось, что и сам фельдфебель, и почти все его солдаты были со Псковщины. Почему они оказались так далеко от своей родины, хотя в германскую воевали совсем недалеко, и зачем подались на восток, так и осталось невыясненным. Не до этого было.

«Да!.. – почему-то только сейчас об этом подумал Сорокин. – Не до этого было!»

Мимо них медленно двигался санный обоз, такой длинный, что казалось, он вытянулся до самого Владивостока.

Поручик Сорокин вместе с полковником Адельбергом приняли эшелон в четыре вагона в Ачинске, сразу же после мощного взрыва на станции, когда один из вагонов литерного с золотой казной – последний – сошел с рельс и Верховный приказал его отцепить, чтобы он не

замедлял движения всего поезда, и прицепить к свободному паровозу с тремя теплушками. В них и находилась полурота фельдфебеля Огурцова.

«А надо бы выяснить!» – подумал Сорокин, крепче опёрся на «третью ногу», та острым концом пробила наст, Сорокин содрогнулся от боли в ноге и упал.

– Ну вот, ваше благородие, вы снова-ть в себя и пришли!

Сорокин открыл глаза. Он увидел над собой синее небо и по бокам чёрные и зелёные кроны деревьев, и ему показалось, что по небу между кронами проложена дорога. Синяя дорога неба с белыми облаками стояла на месте и не двигалась, а кроны деревьев по бокам медленно поползали.

– Как, однако ж, вас угораздило ногой-т свихнуться, прямо так и рухнули, чуть не под полозья, да спасибо добрым людям, что позволили...

Сорокин потряс головой и с трудом поднялся на локте. Рядом с санями полушёл-полу-бежал Огурцов.

«Ангел-хранитель он мой, что ли?» – вспомнив только что увиденное небо с облаками и разглядывая Огурцова, подумал Сорокин.

– ...Штой-то на вас сегодня как падучая напала, ваше благородие, да спасибо добрым людям, – фельдфебель говорил, чуть запыхавшись, – што позволили на сани-то пристроить.

«И правда – падучая?»

Сани были с настилом без бортов, такие, на каких зимой перевозят стогами сено, поэтому они были плоские и широкие. Он попытался сесть, но нога сильно заболела в лодыжке, он сморщился и тихо застонал.

– Што с вами? Фам болно? – услышал он из-за спины.

– Вона и барышня за вас болеить, – на ходу лыбился фельдфебель. – Это всё она, она упростила вас взять на сани-то.

Сорокин не успевал соображать, кроме ноги у него ещё болела голова и саднила левая скула.

– Это его чехи заломали, когда их благородие за сабелькута схватился! Эт када нашего полковника заарестовали да к стенке повели.

– А как это – саломали?

Женский голос, который только что из-за спины услышал Сорокин, был с сильным иностранным акцентом, и он, преодолевая боль, попытался обернуться. В санях, заваленных в середине поклажей: котомками и мешками, – кроме него, из тех, кого он видел, сидело ещё пятеро закутанных как коконы людей. Сразу было непонятно, кто женщина, а кто мужчина и кто из них говорил с сильным акцентом.

– Как это – саломали? Мне интересно всё про русски язык.

Сорокину захотелось тряхнуть головой и избавиться как от наваждения, но тут в разговор снова влез фельдфебель.

– А вы, барышня, с откедава будете? – Он сказал за спину Сорокину, на ходу сделал шаг в сторону и отломил от ближнего куста ветку. – А заломали – это вот так! – сказал он и переломил ветку пополам.

– А, тепер понятно! «Саломал» значит ломал наполовину.

– Нет, барышня! Не ломал наполовину, а вот так. – И фельдфебель ещё раз согнул ветку, та хрустнула, но только надломилась. – Вот так и их благородие, он только надломился, а сам остался целёхонький!

Сорокин слушал разговор и не понимал, с кем и где ему можно вставить слово, и вдруг, неожиданно для себя, произнес низким голосом:

– А помолчи-ка ты, братец! – и подумал: «Тоже мне, ангел-хранитель!»

Огурцов после этих слов как-то ещё больше осклабился, захихикал, перешёл с полубега на шаг и немного отстал.

«Обидел, – подумал Сорокин, – ладно, потом извинюсь!» Он попробовал сесть удобнее, перетерпел боль в ноге и наконец-то смог повернуться. Рядом с ним, согнутыми коленями вперёд, сидела женщина, одетая в мужскую крытую шубу с поднятым воротником и поверх шапки замотанная белым пуховым платком. Она смотрела на Сорокина и, когда он повернулся к ней, поднесла палец к закрывавшему нижнюю половину лица платку и стянула платок под подбородок.

День был на середине, где-то ближе к трём часам пополудни, Сорокин вспомнил, что давно уже не сверялся с часами и вовсе про них забыл. Как это часто бывало в этой местности, в Предбайкалье, в это время дня морозы отпускали и заметно теплело. По его подсчетам, станция, на которой чехи забрали их эшелон, находилась в нескольких десятках вёрст не доезжая Иркутска.

Женщина смотрела на Сорокина и улыбалась.

– Вам ещё болно?

– Ещё да!

– Вас ранили? Как сказал этот солдат – саломали?

– Заломали, но не ранили, только я сильно ударился, ушибся, – сказал Сорокин и показал рукой на голову и ногу.

– Я вижу, у вас глаз... – она поискала нужное слово, – синий!

– Синяк. А что, видно?

– Немножко! Синьяк! Я с этот vocabulary... – Словарь! – подсказал ей Сорокин.

– Да, правильно, словарь... совершенно незнакома... – А вы американка? Нет... англичанка!

– Да, я англичанка...

– Как же вы сюда попали? – Сорокин забыл про боль. – Это длинная история... – А как вас зовут?

– Меня зовут...

Сорокин видел, что женщина готова засмеяться, но сдерживается.

– Элеонора Боули. А вы?

«Мадам Энн», – подумал про себя Сорокин.

– А я поручик Сорокин, в смысле, извините, Михаил, можно просто Миша.

– Так, значит, вы поручик Миши Сорокин, это птица есть...

Сорокин оживился:

– Да, есть такая птица, белая с черным, white and black bird... magpie...

– Yes, magpie! Do you speak English?

– Yes. I do!

– It's good! Может быть, Миша, перейдём на английский язык, я уже половина года не с кем говорить на английском, я боюсь, что я его теряю!

– С удовольствием, – ответил ей Сорокин по-английски. – У вас хорошее произношение...

– Спасибо... – Михаил хотел сказать «мадам Энн», но по-английски это не звучало, – мисс...

– Мисс Боули! – сказала она. – Вы джентльмен, Миша, это всегда приятно, особенно в таком месте!

От неожиданной похвалы у Сорокина зарделись щёки и заняла разбитая скула.

– Что с вами случилось? На вас напали чехи? – спросила англичанка.

– Да, мисс Энн! Напали и отняли наш эшелон...

– Они такие противные, эти чехи, я тоже ехала в поезде...

– А как вы оказались на этих санях? Как вы вообще оказались здесь? – перебил её удивлённый Сорокин.

На лице Элеоноры Боули мелькнула странная улыбка, она придвинулась ближе и сказала:

– Меня считают какой-то шпионкой, потому что я всё время что-то записываю. Я их понимаю, они... – и она кивнула в сторону соседей по саням, – простые люди, едут со своими соплеменниками, и им непонятно, что тут делает иностранка, которая плохо говорит на их языке, – она придвинулась ещё ближе, обернулась и поправила мешок, на который опиралась спиной. – Я пыталась объяснить, что я журналист, корреспондент английской газеты...

Сорокин внимательно слушал её. – ...«Таймс», лондонская «Таймс»... Сорокин кивнул.

– Русский язык я начала учить ещё в Лондоне, а потом в Петербурге, но вы ведь понимаете, что чужой язык можно учить всю жизнь, вот я и продолжаю, а они... – Она снова кивнула на соседей, которые смотрели на неё и Сорокина.

– Понятно, – сказал Сорокин, – я им всё объясню!

– Буду вам очень признательна!

– А всё-таки как вы оказались здесь?

Элеонора Боули немного помолчала. – Прямо из Петербургской ЧК... Сорокин удивлённо посмотрел на неё.

– Когда в Лондоне узнали про убийство Распутина, редакция газеты направила меня в Санкт-Петербург. Там я застала Февральскую революцию и отречение вашего царя... – Она говорила с паузами. – Мне предложили вернуться, но мне стало интересно, все телеграфные агентства работали, и я продолжала слать корреспонденции о том, что происходило в России. Потом было Июльское восстание, потом Корнилов...

Элеонора Боули перечисляла события, и он согласно кивал. Из уважения к такой известной на весь мир газете, в которой, оказывается, работала эта молодая женщина, Сорокин стал мысленно звать её не «мадам», не «мисс», а «леди Энн».

– ...потом Ленин и октябрь, а потом меня забрали в ЧК... только наш посол, если бы он не вмешался... – Она замолчала.

Некоторое время молчал и Сорокин.

– А потом?

– Потом я переехала в Казань и даже была аккредитована при начальнике вашего Генерального штаба генерале Андогском...

– А почему после октября вы не уехали куда-нибудь в Финляндию или хотя бы в Ригу?

– Да как же можно было уехать? – Она всплеснула руками. – Я журналист, а это такое редкое событие, такая большая революция... и в Риге, и в Финляндии, кстати, было неспокойно... Мне надо было всё видеть!

– А ваша редакция... там должны были понимать, что оставаться в России так опасно для вас.

Элеонора улыbnулась:

– Конечно, они понимали, но, наверное, я хороший журналист, только мне плохо давалось описание военных действий, поэтому ваш генерал мне очень помогал.

– Андогский, – тихо промолвил Сорокин, он внимательно посмотрел на Элеонору и сказал: – Он где-то здесь!

– Я знаю, – так же тихо промолвила мисс Боули. – Из Казани мы вместе с ним переехали в Омск, и я была аккредитована при вашем Верховном... но журналисту нельзя только ехать в поезде и смотреть в окно.

– И что случилось дальше?

– На маленькой станции я сошла; рядом стоял другой поезд без локомотива, и там были люди, они болели, голодали, им было холодно, и никто не мог им помочь, и я стала с ними разговаривать... – И ваш поезд ушёл!

Элеонора кивнула.

– А чем вы питаетесь, что едите? – спросил Сорокин вдруг и почему-то по-русски.

Элеонора опустила голову.

– Вам помогают эти?.. – Сорокин кивнул в сторону соседей.

Она опустила голову ещё ниже.

– Огурцов! Фельдфебель! – крикнул Сорокин фельдфебелю, который уже пристроился на идущих сзади санях.

Тот скинул ноги и подбежал.

– Надо взять её на довольствие, понял?

– Как есть понял, ваше благородие, как не понять! Так я уже и сам подумал, и даже меру для неё приготовил! Так она и сейчас небось голодные? – Всё это Огурцов говорил со смешком, громко, почти кричал.

Сорокин увидел, что англичанка смотрит на фельдфебеля со страхом, он понял, что ей неудобно перед соседями, которые подкармливали её...

– Сколько вы с ними едете? Сколько дней?

– Одну неделю, – не поднимая глаз, ответила Элеонора.

– Вот что, Михалыч! – Сорокин снова обратился к фельдфебелю и увидел, как у того от такого уважительного обращения улыбка стала необъятной. – Что у нас в казне? Есть что-то?

– Есть, ваше благородие, чехи до неё не добрались!

– Присядь пока. – И поручик показал на настил. – Уважаемый! – крикнул он вознице. «Уважаемый» обернулся, это был широколицый мужик с седой рыжей бородой.

– Сколько я вам должен за прокорм этой дамы?

– Дак, барин, сколь не жалко!

Сорокин глянул на Огурцова:

– Столкнись с ним!

Огурцов соскочил с саней и проорал:

– Столкуюсь, как есть столкуюсь, ваше благородие!

Сорокин взял верхний мешок с поклажи, он был мягкий, и подложил его под локоть. Он глянул на Элеонору и удивился её взгляду: леди Энн смотрела так, что у Сорокина поползли по спине мурашки.

– Что случилось? Что с вами? – Он увидел, что по её щекам катятся слезы. – Да что вы так волнуетесь? Обычное дело – в таком положении помочь.

Элеонора вынула из рукава белый батистовый платочек и приложила его к щекам.

– Вы милый, Миша, вы – джентльмен.

– Что вы, мисс... леди Энн! – ответил Сорокин и понял, что он вот уже полчаса разговаривает с этой женщиной, но даже не разглядел её, но тут же и понял, что это было сложно. Закутанная в громадную, с чужого плеча мужскую крытую шубу, она была как в коконе, над которым была голова, обвязанная поверх каракулевой шапки платком, а снизу из-под шубы торчали носки шнурованных ботинок. Она сидела поджав колени и опершись на большой мешок, который на ухабах, когда сани переваливались с боку на бок, сползал, и Элеонора постоянно его поддёргивала. На него смотрели тёмно-карие глаза, как у его прабабушки-татарки, и на щеку выбивалась прядка чёрных волос. Элеонора её заправляла, но она снова выбивалась. Она была не похожа на англичанок, которых представлял себе Сорокин и которых видел в детстве, когда у него одна за другой были две гувернантки: блондинка мисс Дороти и медно-рыжая миссис Элизабет.

– А откуда вы так хорошо знаете английский язык и с таким хорошим произношением? – спросила Элеонора, она заметила, что Сорокин разглядывает её.

Поручик смутился – это было неприлично, так разглядывать молодую женщину.

– У меня в детстве были гувернантки, англичанка и шотландка.

– Теперь понятно! А где вы родились?

– В Омске.

– А кто ваши родители?

– Папа был хлеботорговец, гласный городской думы... – Он принадлежал к какой-нибудь партии?

– Да, он был известным в Сибири конституционным демократом...

– Кадет!

– Да, по-нашему это будет – кадет!

– Вы так рассматриваете меня, я не похожа на англичанку?

Сорокин смутился ещё больше:

– Нет, но!.. Извините!

– Я знаю, я не похожа на англичанку. – Она улыбалась, на её щеках уже высохли слёзы. –

Вы такой... сколько вам лет?

– Двадцать, через две недели будет двадцать.

– 28 февраля? В пятницу!

– Да!

– Как ваша мама успела... чтобы не 29 февраля, вы же родились в високосный год... 1900-й!..

– Да!

– А вас всё же удивляет, что я не похожа на англичанку! – Элеонора смотрела на Сорокина, и её глаза смеялись. – Мой дедушка женился на индианке.

– Он служил в колониях?

– Да, только он не решился привезти её на острова, и моя мама родилась в Индии, а вышла замуж за английского лейтенанта Боули.

– Это ваш папа?

– Да!

– И вы родились?..

– В Лондоне.

Завязывался разговор, Сорокину было интересно, он уже видел, что леди Энн по-своему очень красива, говорить с ней было легко, поручик даже не заметил, что английский язык, на котором он не говорил уже несколько лет, как ушёл на германскую, даётся ему свободно, так, что он произносил слова не задумываясь.

Вдруг подскочил Огурцов.

– Ваше благородие, вон, – он показал рукой в конец обоза, – верхие скочут, може, тормознём их, авось патронами разживёмся...

Сорокин был раздражён тем, что Огурцов прервал его беседу с леди Энн, но быстро понял, что тот говорит дело.

– Так попросишь или что-то предложишь взамен?

– Сперва так попрошу, а коли заартачатся, так и предложить можно.

– Что же ты им предложишь?

– Дак у нас панорама имеется антиллерийская, можа, им сгодится, да бинокля немецкая, ещо с фронта за собой таскаю.

– И не жалко?

– А как в бой иттить, так с чем... ими, что ль, отмахуваться, а патроны-т пригодятся... куда как!

Верховые быстро приближались по обочине, лошади шли резво и забрасывали сани беженцев снежками из-под копыт. Сорокин разглядел, что на первой лошади был офицер, а на второй некто, одетый в офицерскую папаху и гражданское чёрное пальто, подпоясанное ремнём.

– Ну, давай, только смотри, чтоб не смяли! – крикнул он фельдфебелю, но было поздно, Огурцов уже бежал навстречу верховым и размахивал руками. Верховые кричали «В сторону!», а Огурцов им «Стой! Стой, говорю!». Передний крикнул «С дороги!», натянул вожжи, когда Огурцов уже был почти под копытами; лошадь упёрлась передними ногами и стала приседать на задних, всадник замахнулся плёткой, но Огурцов схватился за уздечку и спрятался под головой лошади.

– Ваше благородие, – дурным голосом закричал он, – господин офицер, с вами хочет говорить поручик Сорокин, мы токма вон со станции от красных ушли...

– Какой еще поручик, с какой станции? – Всадник с погонами штабс-ротмистра опустил плеть. – Где твой поручик?

Сорокин распрямился и спустил одну ногу с саней. – Извините, господин штабс-ротмистр, не могу встать... – Что с вами? – Капитан подъехал к саням.

Сорокин представился:

– Поручик Сорокин! Чехи забрали литерный эшелон Верховного и расстреляли нашего командира... – Как это? Кто командир?

– Полковник Адельберг.

– Александр Петрович? А что с ним?

– Арестован или расстрелян... мы оказали им сопротивление...

– А с вами что?

– В заварушку мы попали, ваше благородие... – вставил Огурцов. Капитан бросил на него недовольный взгляд, но это фельдфебеля не смутило, – как только их благородие в себя-т пришли, как его чехи-т заломали, так сразу за ихним эшелонем стал надвигаться красный, мы со станции и уткли...

Штабс-ротмистр повернулся к своему спутнику:

– Ошиблись, как и мы!..

– Да, Алексей Алексеевич! – сказал спутник и ухмыльнулся. – Не разобрали, что флаг на кабине паровоза был не красный, а красный с белым.

– Это, поручик, за чешскими эшелонами идет эшелон с польской дивизией, так что вы напрасно драпали, – с усмешкой сказал штабс-ротмистр и уже было взмахнул плёткой, но Огурцов заступил ему дорогу и просительно глянул на Сорокина.

– Господин штабс-ротмистр, – спохватился Сорокин, – чехи оставили наши винтовки, но забрали все патроны... – Это понятно, а в чём ваше дело, поручик?

– Нам бы патронов, хотя бы по пачке на человека.

Штабс-ротмистр сдвинул плёткой папаху с затылка на лоб.

– У нас собой нет, но... – Он поправил папаху, достал блокнот и написал записку. – Вот вам... за нами идут две роты, вёрхом, отдадите командиру, это воткинский командир капитан-лейтенант Арцишевский Антон Генрихович, они помогут, чем смогут, а нас не задерживайте, с Богом!

Он махнул плеткой, Огурцов только-только успел выскочить из-под копыт, и оба всадника поскакали дальше.

– Как вы хорошо с ним разговаривали! – глядя им вслед, промолвила Элеонора.

Михаил Капитонович непонимающе посмотрел на неё.

– Я говорю, что вы с ним хорошо разговаривали... – Она повернулась к Михаилу Капитоновичу.

– Хорошо? Что вы имеете в виду?

– Я имею в виду, что вы говорили и по-деловому, и очень вежливо, и, как бы это сказать... на равных, по-русски, подворянски...

Сорокин пожал плечами:

– Я офицер, он офицер... А как это, по-дворянски? Я не дворянин! А может быть, и он не дворянин.

Элеонора помолчала, поддёрнула мешок за спиной и сказала:

– У вас, у русских, замечательные манеры, я заметила это, как только приехала в Россию, вы умеете быть на равных, независимо от чина и положения. Где вы учились?

– Классическая гимназия, потом юнкерское училище...

– Это воспитание у вас от...

– Наверное, от мамы, она дворянка, хотя, когда вышла замуж за купца, перестала быть...

– А ваша мама...

– Из старинного ханского татарского рода, моя прабабушка – бабушку я не помню, она умерла молодой – из рода хана Кучума.

– Это чувствуется!

Сорокин ухмыльнулся:

– По-моему, Энн, извините, леди Энн... Элеонора примиряюще махнула рукой.

– ...вы все придумываете!

– Ну, так уж и всё?

Они замолчали.

Сорокин оглянулся по сторонам и по левую руку на обочине вдруг увидел заваленные снегом, положенные штабелем друг на друга замёрзшие человеческие тела; из штабеля торчала восковая голая рука с растопыренными скрюченными пальцами. К телам был прислонён связанный верёвками берёзовый крест. Он увидел, что Элеонора собирается посмотреть туда же, испугался и, желая её отвлечь, позвал:

– Леди Энн!..

Она глянула на него и укоризненно сказала:

– Зовите меня просто по имени... – Да, да, извините...

– Что вы хотели сказать?

– А... я уже забыл! – соврал Сорокин.

– Какая у вас память, как вы, русские, говорите... – В её глазах проскочила кокетливая искра, и она сказала по-русски:

– Дэвичья... правильно?

Сорокин рассмеялся.

– Правильно! – передразнил он.

Солнце садилось позади тракта и своим ярким кругом уже достигло вершин дальних сопков, обоз тянулся на восток, Элеонора Боули и Сорокин сидели лицом на запад.

– Как красиво! Какой чистый воздух! Видите?

Сорокин сощурился и прикрылся от резкого света; он видел только, как в косых, почти параллельных земле контрастных лучах чернеет тайга.

– Уважаемый! – крикнул он.

– Слухаю, барин, – откликнулся хозяин саней.

– Как думаешь, где ночевать будем?

– А кто ж его знает, где обоз встанет, там и ночевать будем... – Как так?

– А так, ваше благородие, коли села какого достигнем, тама и ночевать будем, а коли в тайге, так костёр разведём, и вся ночёвка.

– Под открытым небом? – удивился Сорокин и сразу понял, как был нелеп его вопрос.

– А ишо как? Гостиницев али постоянных дворов в тайге нету!

Сорокин заёрзал.

– Мишя, вы не волнуйтесь, мы так едем уже не первый день...

Он посмотрел на Элеонору.

– Это даже лучше, если в тайге, – в деревне в домах много всяких насекомых, а тут чисто.

– Холодно! – выговорил Сорокин.

– У костра не холодно, когда все вместе... – тихо произнесла Элеонора.

Сорокин понял, что от него сейчас ничего не зависит, и в сердцах крикнул:

– Огурцов!

Фельдфебель прыгнул с саней и подбежал к поручику:

– Слушаюсь, ваше благородие!

Сорокин глянул на него и безнадежно махнул рукой.

Огурцов по инерции сделал несколько шагов, потом остановился, прислушался, присыл лицом и, показывая рукой в конец обоза, выкрикнул:

– А? Скочуть! Поди те, кого мы поджидаем!

Сорокин прислушался, ничего не услышал, но почувствовал, что из-под садящегося солнца доносится глухой стук копыт.

– Давай, Огурцов, будь настороже! Не пропустить бы!

– Не пропустим, Михайла Капитоныч, ваше благородие, – хихикнул фельдфебель. – Костями поперёк лягу.

Фельдфебель повернулся и остался стоять на обочине тракта.

– Какой он интересный, этот ваш солдат, и фамилия у него добрая. Такая – овощ!

– Овощ? – удивился Сорокин и расхохотался.

– Вот, – удовлетворённо сказала Элеонора, – теперь вы весёлый. Вы же весёлый человек? Не надо быть хмурым, я понимаю вашу заботу и принимаю её, но поверьте, всё будет хорошо...

Сорокин посмотрел ей в глаза – леди Энн улыбалась.

«Какая она все-таки!...» – подумал Михаил Капитонович.

Вопрос с воткинцами решился быстро. Огурцов остановил командира, Сорокин передал ему записку штабс-ротмистра, тот написал на ней несколько слов и отдал Огурцову.

– В арьергарде идут две пушки, на них всё наше хозяйство, им управляет прапорщик Вяземский, всё получите у него. Но, поручик, не обессудьте, сколько даст, столько даст, сами поштучно считаем... Впереди верстах в пяти село, мы идём туда, доедете, найдите штаб и присоединяйтесь к нам с вашим войском.

Сорокин поблагодарил.

– Ну вот, – промолвила у него за спиной Элеонора, – теперь вы будете ночевать в деревне, в доме. И если вернётесь на эти сани, я буду вас бояться.

Сорокин услышал её слова и, не зная, что ответить, сидел и молчал.

«А ведь она правду говорит, – подумал он, – если я присоединюсь к воткинскому отряду, то я с ним и останусь и на эти сани уже не вернусь...» Он повернулся.

– У вас ещё болит нога? – спросила его Элеонора.

– Болит! – смущённо ответил Михаил Капитонович и сразу всё понял. – Я сам боюсь насекомых и не буду ночевать в доме!

– А как же вы будете командовать вашими солдатами?

– А так и буду, буду защищать обоз в арьергарде, с тылу! – Ему не хотелось показывать своего смущения, и он заорал: – Огурцов!

– Ваш замечательный Огурцов раздаёт патроны, – тихо и мягко произнесла Элеонора.

Сорокин всмотрелся в сумерки, разглядел вереницу солдат, очередь шедших за санями, на которых сидел фельдфебель, и увидел, как солдаты один за другим отходят от саней и что-то рассовывают по карманам шинелей.

– А вы, вам не нужны патроны? – спросила Элеонора. – Вам не понадобится?

«И правда?» – подумал Сорокин и ощупал кобуру на боку, она была пустая.

– Мне придётся раздобыть оружие там, – в растерянности ответил он и куда-то махнул рукой. – У меня чехи отняли оружие.

– Это не страшно, – ответила Элеонора и полезла рукой под шубу. – Вот, возьмите!

На фоне чёрной шубы, в которую была одета Элеонора, он ничего не разглядел, только почувствовал, что она ищет его руку, он потянулся, и она вложила ему в пальцы что-то тяжёлое.

– Я не хотела, чтобы меня застали врасплох эти партизаны, это же не настоящая армия, а бандиты, и командиры у них бандиты, вряд ли они имеют понятие о чести и о том, как надо обращаться с женщинами, и ещё возьмите вот это, сейчас вам это будет кстати...

Сорокин переложил поданный ею револьвер в другую руку, и она вложила ему в раскрытую ладонь ещё один тяжелый предмет. Стемнело, и уже ничего не было видно, Михаил Капитонович почувствовал, что предмет имеет округлую форму и тёплый.

– Это виски, настоящее виски. Я вожу с собой эту флягу на случай, если понадобится обработать кому-нибудь рану. Но вы можете немного выпить, и я с вами, только чтобы наши соседи не видели...

Сорокин был так удивлён, что сидел и ничего не мог сказать.

– Я слишком долго путешествую вот так, без комфорта, и должна быть ко всему готова. А ещё я хочу попасть к себе на родину и описать всё, что я тут видела. Это моя задача, и я хочу, чтобы вы мне в этом помогли, дорогой мой поручик Миша.

После этого они долго ехали и молчали, уже совсем стемнело, и вдруг Элеонора спросила:

– Если ваша мама потомок татар... вы похожи не на неё?

– Вы имеете в виду, что я блондин?

– Да!

– Я похож на папу, хотя мама не такая брюнетка, как вы, у нас в неё мой младший брат... – А где они сейчас?

– Не знаю, меня отправили из Омска на несколько дней раньше, они тоже уже собирались, но смогли ли уехать?

– То есть вы о них ничего не знаете?

– Ничего.

– Надо надеяться. Надо надеяться на лучшее...

Через час обоз встал. Возница соскочил, взял лошадь под уздцы и отвёл сани ближе к обочине.

– Им, – пробурчал он, – всё одно, што ночь, што день, а скочуть туды-сюды... так от греха! И вона – полянка, тама костерок и разложим, а?

Сорокин вглядывался в обочину дороги и край тайги, но не увидел никакой полянки, только под сплошной стеной зарослей границей белел тракт. Он хотел было позвать фельдфебеля, но тот уже стоял рядом.

– Што, уважаемый! – Огурцов обратился к вознице. – Есть котелок, али ищо кака посуда, подставляй, это тебе крупа для барышни да консерва, разумеешь?

– А давай! – услышал Сорокин голос возницы.

«Как они в такой кромешной тьме что-то видят?» – подумал он и моментально ослеп от вспыхнувшего света зажигалки в руках у Элеоноры. Он прикрылся ладонью.

– Не привыкли, – тихо сказала она.

– А вы, ваше благородие, к нашему котлу, у нас тама довольствия... – И Сорокин почувствовал, что Огурцов дотронулся до рукава его шинели.

– Не надо, я сам, вроде нога уже получше. – Он чувствовал себя неудобно, во-первых, не такой уж он инвалид, чтобы опираться на руку фельдфебеля, а во-вторых, ему очень не хотелось уходить от Элеоноры. Он протянул ей флягу:

– Пока возьмите, пусть будет у вас, а то неудобно, если солдаты почувствуют запах.

– Хорошо, Миша, вы ведь вернётесь?

Сорокин встал сначала на одну ногу, потом на другую, подвёрнутая нога ещё болела, но терпимо, и он мог идти.

– Обязательно, леди Энн.

Ждать ужина не было времени, и Сорокин вместе с Огурцовым направился в штаб. Они шли по ходу обоза и через час дошли до села, до предела забитого людьми и санями. В селе было светло от горевших костров, вокруг которых вперемежку сидели офицеры, солдаты, женщины, дети и гражданские мужчины. В избах в каждом окне горел свет керосиновых ламп или отсвечивал огонь от горящих печек. Сорокин спросил про штаб, и ему махнули рукой вдоль бесконечной улицы. Они шли, огибая бивуаки, и Огурцов всю дорогу охал и ахал по поводу того, что завтра здоровыми здесь проснутся не все. На одном из домов, который выходил окнами на улицу, без забора, похожем на сельскую школу, они увидели белый флаг с красным крестом. На узком крыльце, навалившись бедром на перила, стоял мужчина в белом халате, поверх которого была накинута бекеша, и курил.

– Што, господин доhtar, много нынче раненых, али только хворые? – крикнул ему Огурцов и Сорокин увидел, что Огурцов забирает вправо, пытаясь пройти по дуге, как можно дальше от крыльца, насколько позволяла ширина улицы.

– А ты зайди, солдатик, и сам всё узнаешь. – Голос курившего был на удивление высокий. – А лучше не заходи, дольше проживёшь.

Огурцов хихикнул и шмыгнул носом.

– И на том благодарны, мы уж лучше на свежем воздухе попрохлаждаемся!

– Давай, давай, прохлаждайся! – услышал Сорокин.

Штабс-ротмистр Рейнгардт, капитан-лейтенант Арцишевский и плотный и высокий мужчина, который, несмотря на жару в натопленной избе, не снял ни гражданского пальто, ни военной папахи, встретили Сорокина по-деловому.

– В арьергарде у нас идёт полк...

– То, что от него осталось... Алексей Алексеевич, – вставил мужчина.

– Я так и понял, – кивнул Сорокин.

– А ваше войско, сколько вас?... – спросил мужчина.

Сорокин услышал его вопрос и посмотрел на Рейнгардта.

– Не смущайтесь, это журналист, корреспондент из ставки Верховного Иванова, Всеволод Никанорович, но в военном деле он разбирается не хуже нас.

– Полурота...

– Вы находитесь примерно на середине между нами и полком, и вы, я так полагаю, никаким транспортом, кроме саней, не располагаете?

– Нет, господин капитан, и те не наши...

– Нам надо держать связь с полком, я вам дам более-менее свежего коня. Увидите вестового, покажите ему вот это. – И штабс-ротмистр Рейнгардт протянул Сорокину сложенный вчетверо лист бумаги. – Это приказ относительно вас. Оставьте вестового вместо себя, пусть отдыхает, силы надо беречь, а сведения от него... в общем, скажите к нам... Ну и так же в обратную сторону. Поняли, поручик?

– Понял, господин штабс-ротмистр!

В это время поднял голову от бумаг Арцишевский.

– Кто у вас был командир?

– Полковник Адельберг, Александр Петрович, господин капитан-лейтенант.

– И что с ним случилось?

Сорокин рассказал о том, что произошло на станции. Арцишевский с сожалением покачал головой.

– При случае сможете узнать ваши вагоны, ваш эшелон?

– Если я не узнаю, мой фельдфебель узнает, он в этом эшелоне почти от самой Самары...

– Ну что же... – Арцишевский посмотрел на Ивана:

– Всеволод Никанорович, у вас к поручику были вопросы!

Мужчина кивнул и посмотрел на Сорокина:

– Вы мне кого-то напоминаете, не вы сами, я вижу вас впервые, а...

– Может быть, вы были знакомы с моим отцом, Капитоном Александровичем Сорокиным, гласным Омс...

– ...Омской городской думы, известным кадетом... – Да! Вы были знакомы?

Иванов встал из-за стола и, качая головой, будто он о чём-то сожалеет, подошёл к Сорокину:

– Крепитесь, молодой человек, они все погибли, точных обстоятельств я не знаю, но по нашим сводкам...

Сорокин на секунду утратил слух и не заметил, как побелели его сжавшиеся кулаки.

Иванов, не договорив, повернулся к Арцишевскому:

– Антон Генрихович, у нас есть чем помянуть хороших людей?

Рейнгардт взял Сорокина за плечо и легонько подтолкнул к широкой лавке около стены.

– Сядьте, поручик, для вас это плохая весть, но её придется пережить.

Михаил Капитонович повёл плечом, освободился, но сел, ноги его держали плохо.

– Кто все? Какие все? – спросил он и поднял голову к Ивану.

В этот момент и без того большой Иванов показался ему огромным, загородившим собою всю комнату.

Иванов стронулся с места, присел рядом с Сорокиным и снял папаху, по его высокому лбу катился пот. Он достал из брюк громадный платок и промокнул им лоснящуюся кожу.

– Снаряд... один... шальной... и именно в их сани. Нашли... нет, не стану... – Он отвернулся от Сорокина. – Какой в этом сейчас прок, даже если это было и не совсем так... ваш брат прожил ещё несколько часов.

Подошёл Рейнгардт, в одной руке у него был стакан с мутноватым самогоном, в другой ломоть хлеба с куском консервированной говядины.

– Выпейте и давайте к делу, у нас у каждого кто-то погиб, кто-то пропал.

Сорокин внутренне встряхнулся.

– Извините, господа.

– Мы понимаем, всё так неожиданно, – промолвил Иванов, в его большой ладони стакана не было видно.

– А что же вы, закусить, Всеволод Никанорович? – спросил Рейнгардт.

– Да бог с ней, с закуской. Сейчас выпью и завалюсь спать, всё едино отсюда никакой корреспонденции уже не пошлешь, да и некуда, – сказал он и махнул рукой.

* * *

На обратном пути Огурцов вёл под уздцы лоснящегося в свете костров гнедого коня. Через каждые три шага на четвёртый он оглядывался на него.

– А не спросили, ваше благородие, зовут-то как нашего Рисинанта?..

Сорокин шёл и слышал, только как под сапогами скрипит снег.

– А? Ваше благородие?

– Что? – Сорокин не расслышал вопроса, но почувствовал вдруг рядом со своим ухом горячее дыхание. – Что? Ты что-то спросил?

– Я про то, как его зовут? Он же тоже тварь божья, должен имя иметь?

– А! Ты извини, Михалыч, я...

– Штой-то вы как-то переменялись, ваше благородие, можа, чего недоброго в штабе понаслушались, можа, нам уж и отступать некуда?

– Может, и некуда, – тихо ответил Сорокин.

– Вы, ваше благородие, чую... что-то... да только говорить не хотите! – так же тихо промолвил фельдфебель.

– У меня погибли родители и младший брат, – сказал Сорокин и был готов заткнуть уши, чтобы не услышать причитаний фельдфебеля, которые должны были неминуемо начаться, но Огурцов только крикнул.

Через несколько шагов удивлённый Сорокин даже обернулся.

– А што тут скажешь, Михайла Капитоныч? – Огурцов закинул узду на локоть и заворачивал сигарку. – Тут ничё не скажешь, а только она – война, паскуда!

Если бы не Огурцов, Сорокин прошёл бы полуроту и не заметил. На тракте царил беспорядок. Обозные останавливались, как шли: кто поворотил коня к правой обочине и поставил сани поперёк; кто съехал на левую, и сани опять стояли поперёк; везде горели костры, и вокруг них сустились люди; а кто-то уже сидя спал, прижавшись спиной к точно так же сидящему соседу; кто-то на саях, а кто и на снегу; только женщины не спали и укачивали своих детей, плотно прижав их к себе. Огурцов обходил эти группы людей, сани и костры и в голос матерился.

– От же ж, мат-ть вашу, а ежели срочно в штаб придётся, так прям по головам, што ли? А ежели с донесением?

В один момент, когда поперёк тракта стояло подряд трое саней, он не выдержал и накинулся на хозяев:

– Эй вы, сукины дети, глаза бы у вас повысыхали, баррикаду тут завели, студенты, што ль, на Марсовом поле? А как я с донесением через вас? Ну-ка, оттащить их вон туды, на ту обочину. Што вылупились? Как сзади надавят али спереди подопрут? Кучу-малу... Ну я вас...

Он скинул узду на руку Сорокину, подошёл к ближнему мужику, подвязывавшему под морду лошади торбу, дёрнул его за рукав, тот молча отмахнулся, тогда Огурцов со всего маха врезал мужику по уху. Мужик упал. Огурцов отбросил торбу в сторону, взял поводья и с усилием потащил лошадь и сани к левой обочине. Никто из сидевших у костров и сам мужик не сказали ни слова. Мужик стал подниматься, и ещё двое других ухватились за упряжь своих лошадей.

– То-то, ишо увижу, гранату брошу прям в костёр, быстро дорогу освободить!..

От костра подошла баба с младенцем на руках, замотанным в лоскутное одеяло, и промолвила Огурцову:

– Вы, дяинька, не серчайте... – Она не успела закончить, Огурцов махнул на неё рукой, взял у Сорокина узду и сказал:

– На вот тебе, молодайка. – Он что-то достал из кармана шинели и сунул ей в руку. – Энто мальцу, да смотри не поморозь дитя-то. – Огурцов резко потянул узду вниз и хлопнул коня по нагнувшейся морде. – Для него припас!

Дальше он таким же манером заставил сдвинуть ещё с десятков саней на левую обочину. Сорокин смотрел, как Огурцов управляет с людьми, это его немного отвлекло.

– Михалыч, господин фельдфебель, далеко ли собрался? – окликнули Огурцова от одного из костров. – Подходи, покуда не простыло!

Огурцов погрозил кричавшему кулаком и направился туда.

– Селиванов, ты у нас лошадиный доhtar, сыми с него... – фельдфебель шлёпнул ладонью по конской спине, – торбы с кормом и раздобудь ведро, да воды нагрей, чтоб завсегда под рукой была, каждый момент ехать может понадобится! Понял?

От костра встал долговязый солдат, поправил ремень и взял коня под уздцы.

– А вы, ваше благородие, – он обратился к Сорокину, – подсаживайтесь к нам, снѣдать будем, изголодались, пока шли. Сорокин подошёл к Огурцову и шепотом попросил его:

– Ты, Дмитрий Михалыч, если можно... – но он не успел закончить.

– А то как же-ш, щас, мигом... – Огурцов толкнул коленом одного из сидящих на корточках солдат, поднял стоявший рядом с ним котелок и приказал: – Снегом протри и положи господину поручику, чего у нас там?

– Кулеш, – с ленцой ответил солдат.

– Вот кулеш их благородию и положи, уразумел?

Солдат так же с ленцой поднялся, зачерпнул котелком снег, поставил его рядом с костром и, когда снег на внутренних стенках котелка зашипел, ловко обтёр его, вытряхнул и подал другому солдату, который сидел ближе к котлу.

– Ложка-т имеется, ваше благородие?

Сорокин пожал плечами, когда он ехал в эшелоне, у него всё было.

Огурцов ушёл в темноту и вернулся с ложкой.

– Пользуйтесь! И вот! – сказал он, полез в карман и вынул оттуда кусок колотого сахара. – Для барышни угощение!

Сорокин взял парящий котелок, зажал в кулаке сахар и стал оглядываться. От расположенных поблизости костров исходил яркий свет, но между ними была слепящая темнота. Он помнил, что сани, на которых пристроился Огурцов, шли за его санями, он повернул на восток и через несколько десятков шагов среди других увидел костёр на небольшой поляне, вдававшейся в тайгу. Он пошёл к нему. Вокруг костра ещё сидели. Элеонора увидела его и помахала рукой, она сидела боком, и в контрастном свете яркого огня светилась её левая щека. Он удивился: как она успела так вовремя повернуться и разглядеть его?

– Вы вернулись, Миша, а мы уже поужинали. – Она улыбалась.

– Я ещё принёс...

– Это будет слишком много, так на ночь наедаться нельзя...

– Чтобы завтра меньше хотелось... – удивился Сорокин.

Он подошёл и стал устраиваться у огня, Элеонора внимательно смотрела на него.

– Чем больше ешь на ночь, – пояснила она, – тем больше хочется утром, это я поняла здесь, в дороге. А вы почему такой?.. – И она замолчала, не договорив.

На обратном пути из штаба у Сорокина в голове было три мысли: об убитых родителях и брате, о том, скажет ли он об этом Элеоноре, и о том, знает ли она корреспондента Иванова. Второй вопрос показался ему почему-то трудным. Он понимал, что если правда, что его родных нет в живых, то этого уже не исправишь, а если это всё же ошибка, то он своим рассказом будто похоронит их, и он думал, что, может, будет лучше об этом промолчать. Но он посмотрел на Элеонору, и всё получилось само собой.

– Мне сказали, что здесь в обозе несколько недель назад от случайного снаряда погибли мои родители...

Элеонора отодвинула протянутый ей котелок и вдруг спросила:

– Это вам сообщил журналист Иванов? Он проезжал мимо нас...

Сорокин был поражён, оказывается, второй и третий вопросы отпали сами собой.

– С Ива́новым, у него легкая фамилия и трудное имя, я знакома с Омска, мы обменивались информацией, и он мне помогал что-то понять, какие-то ваши русские сложности, а про гибель семьи известного сибирского кадета Сорокина я слышала... поражала нелепость случая... – И вы не сказали?

– Не обижайтесь, Мишя, во-первых: имя Сорокин – это как в Англии Браун, а во-вторых, как я могла вам сказать, если я сама ничего не видела, а теперь вы всё сами знаете от своих...

Сорокин сидел и глядел в черноту полупустого, остывающего в его руках котелка.

«А она права, леди Энн, она права», – повторял он, его поразили ум и прозорливость этой маленькой женщины.

«Постой, а почему маленькой?» Он удивился, он же до сих пор не видел её, кроме как сидя на санях: она сидела и сейчас на мешке с поклажей, но, глядя на её маленькие руки, он понял, что впечатление, которое у него сложилось, скорее всего, верное.

– Я понимаю, вам сейчас сложно, и никакие слова утешения не помогут, я чувствую, – она помахала открытой ладонью перед носом, – что в штабе вы уже помянули ваших родных... я хочу, чтобы вы сейчас выпили со мной за надежду. – Она секунду помолчала. – На войне так много нелепостей и случайностей, что они оставляют возможность надеяться.

Сорокин поднял глаза от котелка – вокруг костра уже опустело, хозяева саней укладывались спать, они сняли часть поклажи, подтащили сани ближе к огню и – Сорокин даже не заметил этого – подбросили в него дров, и костёр горел ярко и жарко. Всё это происходило как бы помимо него и Элеоноры, и стало понятно, что до них никому нет никакого дела.

– Ну что, Мишя... – услышал Михаил Капитонович и почувствовал, что Элеонора что-то уткнула в его локоть, – у меня даже стакан есть.

Сорокин вздрогнул:

– Да, леди Энн, конечно... я очень вам благодарен...

– Только вы не подумайте, что я... – Элеонора смотрела на него прямо, – мне на самое дно, я совсем не умею пить, а вам надо, и надо ложиться спать.

Сорокин взял стакан и открутил крышку тяжелой фляжки.

– Хватит, достаточно, мне самую капельку, я не хочу, чтобы кто-то подумал...

Сорокин плеснул на дно и подал Элеоноре, подумал, воткнул ложку в котелок и тоже протянул ей.

– Спасибо, я сыта, я только смочу губы, и вам останется побольше.

Михаил Капитонович почувствовал запах виски и сразу ощутил голод.

– Вам сначала надо поесть, Мишя.

И тут Михаил Капитонович вспомнил, чертыхнулся и полез в карман.

– Вот! Это просил вам передать ваш любимый Огурцов.

– Что это? – спросила Элеонора и взяла из рук Сорокина кусок сахара. – Какой он милый... – она поднесла стакан к губам, – я только смочу губы.

Виски действительно только смочило её губы, она их облизнула и подала стакан Сорокину. Михаил Капитонович взял, долил, чокнулся с фляжкой и с благодарностью посмотрел на Элеонору.

– Пейте, пейте! И смотрите, к нам кто-то идёт!

Сорокин выпил, заел ложкой кулеша и оглянулся, к ним приближался Огурцов.

– Покушали, ваше благородие? – спросил Огурцов и повёл носом. В холодном стоячем воздухе чувствительно пахло спиртным. Сорокин вопросительно глянул на Элеонору, и та незаметно кивнула. Михаил Капитонович поднял стакан к свету, налил и протянул Огурцову.

– Премного благодарен...

«...барин!» – про себя договорил за Огурцова Сорокин.

Огурцов одним духом выпил и утёрся кулаком.

– Присаживайся, Дмитрий Михайлович, – предложил Сорокин.

Огурцов подошёл к саням, ухватил какой-то мешок, бросил его на снег и сел напротив.

– Гнедого обустроил? – спросил Сорокин.

– Как есть, ваше благородие! Есть у меня в роте один... он в этом деле разбирается... так и накормил, и напоил, и даже гриву расчесал, потому, мыслю, Гнедой наш в ласке и сытости! – Сказав это, Огурцов взял пригоршню снега и обтёр ею лицо. – И как вы, ваше благородие, так угадали? Я також назвал его Гнедком...

Элеонора и Сорокин увидели поднимающийся от лица фельдфебеля пар.

– Однако ж вам, надо полагать, и почивать пора: и вам, и барышне, тока к огню поближе садитесь, до утра его тепла хватит, – сказал Огурцов, поднялся и добавил: – А я подежурю, а если што, вас кликну!

Сорокин было намеревался поинтересоваться, как Огурцов оказался так далеко от своей Псковщины, но тот уже повернулся и пошёл к своему костру.

Сорокин кивнул ему вслед и начал укладывать мешки.

– Вы их положите так, чтобы мы могли на них сесть спинами друг к другу, и будем спать, – тихо сказала Элеонора.

– А вам удобно будет спать сидя? – спросил Михаил Капитонович.

Элеонора улыбнулась.

«Какая у неё чудесная улыбка!» – невольно подумал Сорокин.

– Мишя, я так сплю уже которую неделю, положу один мешок под себя, другой поставлю к...

– саням, – по-русски подсказал ей Михаил Капитонович.

– ...или к дереву... – Она не успела договорить, как над её головой что-то коротко свистнуло и ударило в ствол ближнего дерева. Сорокин не сразу понял, что это было, но инстинктивно бросился на Элеонору, повалил её и ногой стал закидывать костёр снегом.

– Что вы делаете, Мишя, – с трудом выговорила придавленная его телом Элеонора.

– Тихо, Энн, прошу вас, – прошептал Сорокин, не переставая грести ногою снег к костру, – по нас стреляли...

– Так бывает каждую ночь. – Она освободила из-под его локтя лицо и стала его отталкивать.

– ...разве вы не поняли? – договорил Сорокин.

– Не гасите костёр, мы замёрзнем, – умоляющим голосом попросила она, – так бывает часто, почти каждую ночь!.. Вы слышали выстрел?

«Нет!» – ответил ей про себя Сорокин.

– Нет! – повторил он вслух.

– Вот видите, значит, стреляли откуда-то очень далеко, это шальная пуля.

Сорокин встал на колени, Элеонора села и закрыла рот ладонью. Сорокин увидел, как от смеха вздрагивает её тело.

– Вы такой быстрый, Мишя, к пулям я привыкла, а... – она беззвучно смеялась, – а к такой быстроте – нет!

Михаил Капитонович стоял на коленях и не знал, что делать. Соседи по саням обустроились на ночлег, как будто ничего не произошло.

– Укладывайте мешки... – Элеонора промокала варежкой слёзы.

– Я только хотел...

– Ничего, ничего, Мишя, будем считать, что теперь я вас знаю уже совсем хорошо!

Смущённый Сорокин встал, отряхнул колени и стал подтаскивать один к другому мешки; Элеонора тоже встала, он взглянул на неё и понял, что не ошибся: в большой, с чужого плеча, шубе она выглядела очень миниатюрно. Михаил Капитонович оглянулся по сторонам и увидел, что из вдавленного следа, где совсем недавно перетапывался Огурцов,

торчит угол какой-то бумажки, он поднял её, поднёс к огню и разобрал слабо-синий типографский шрифт: «Господа белые... вы зря драпаете, вокруг вас та же Россия...» Сорокин скатал шарик и бросил его в огонь, шарик полежал, окутался дымком, начал расправляться и ярко вспыхнул.

«Дурак! – подумал в этот момент Сорокин. – Надо было на раскурку пустить, как Огурцов!»

– Ваше благородие!.. – Сорокин почувствовал на лице жаркое дыхание и услышал сиплый шепот. – Ваше благородие, проснитесь!

Он открыл глаза. Было темно, только лоб Огурцова глянцево отсвечивал в свете костра.

– Что случилось, тише ты, не трясись, разбудишь... – Сорокин чувствовал своей спиной спину Элеоноры. – Что такое? – Нарочный прибежал, надоть в штаб, вот донесение, – просипел Огурцов и хлопнул себя по шинели на груди, – просыпайтесь!

Сорокин сидел и старался не шевелиться: если он сейчас встанет, Элеонора упадёт. Пока он мгновение думал, почувствовал, как Элеонора зашевелилась.

– Мишя, – услышал он, – вы вставайте, а мешок прислоните к саням, вставайте, не бойтесь, я не упаду.

«Вот черт, разбудил!»

– Хорошо! Дай руку! – прошептал он Огурцову.

В темноте он увидел силуэт Гнедого и отсвет костра в его круглых глазах. Ногу ломило то ли от вывиха, то ли оттого, что отсидел.

– Я, ваше благородие, сяду первый и вас подхвачу...

– Вдвоём, что ли, поедем?.. – удивился Михаил Капитонович.

– А собьетесь ненароком... у меня хоть винтарь имеется, а у вас?

Сорокин потрогал кобуру и вспомнил, что барабан револьвера, который дала ему Элеонора, был полупустой.

– Ладно! И давай сюда донесение.

Огурцов сел в седло и вниз протянул вчетверо свёрнутый лист плотной бумаги, освободил левое стремя и подал Сорокину руку.

Гнедой шёл шагом то по рыхлой обочине, то между санями, обходя гаснущие костры. Сорокину было неудобно сидеть, он ёрзал без седла, а грудью упирался в висевший поперёк спины фельдфебеля карабин. «Черт побери, надо было оставить его в обозе и ехать одному. На обратном пути пусть идёт пешком, недалеко!» – думал он и почти не слышал разглагольствований Огурцова. Тот что-то говорил о том, что Иркутск надо брать с боем, что в городе «всега полно», и патронов, и «жратвы», и можно раздобыть теплой «одежи». Тракт изгибался влево и, судя по свету тлеющих костров, делал зигзаг, а дальше выпрямлялся. Сорокин присиделся, только неудобно висели ноги без стремян, без упора. Он нащупал донесение за отворотом шинели и подумал, что надо бы прочитать, но было темно. На изгибе тракта саней почти не было, это место Михаил Капитонович заметил, ещё когда они пешком шли в штаб, а потом обратно. Огурцов оглянулся в пол-лица.

– Темень-то какая, а, ваше благородие?..

Сорокин хотел из вежливости в ответ что-то промычать, но вдруг слева услышал скрип снега, и кто-то сзади ухватил его за рукав и потащил вниз. Он схватился за Огурцова, и они упали вместе. Тот, кто стащил его с коня, навалился сверху и стал давить в лицо локтем в овчине, а кто-то навалился на больную ногу и пытался прихватить другую.

– Огурцов! – заорал Сорокин. – Огурцов!

– Ничего! – услышал он. – Сильно больно не буйте, потерпите, ваше благородие, ща стреножим...

Сорокин спружинился и разом ногами и руками оттолкнул всё и оказался свободным. Он вскочил, прыгнул в сторону Гнедого, ухватился за стремя и сколько было сил заорал, без слов, в голос. Испугавшийся Гнедой взялся с места и, не разбирая дороги, погнал вперёд. Сзади прозвучал выстрел. Сорокин ухватился за переднюю луку и гриву коня. Гнедой скакал напрямую через подлесок, голые ветки шумно хлестали по шинели, Сорокин уткнулся лицом в конский бок и дёргал руками седло, потом попал в конский шаг и бежал по рыхлому снегу. Внезапно Гнедой встал, Сорокин запрыгнул в седло и со всей силы ударил коня поводьями по глазам. Гнедой снова пошёл.

«Надо вернуться! Надо вернуться и схватить Огурцова!» – тукало в голове, но инстинктивно Сорокин правил Гнедого к кострам. Лошадь выбралась из подлеска, Сорокин натянул поводья, и Гнедой встал у ближнего костра. «Надо вернуться!..» Сорокин соскочил и почувствовал боль в ноге. Он сел. Рядом с костром, у которого остановился Гнедой, зашевелились люди, к Сорокину подошёл молодой парень, присел на корточки и, ничего не спрашивая, стал смотреть на него.

– Дай руку, – сказал ему Сорокин, парень протянул руку, Сорокин опёрся, встал и сунул ногу в стремя.

– А кто стрéлил? – спросил парень.

– А кто его знает! – в тон ему зло ответил Сорокин, он понял, что даже если возвратится, то на том месте всё одно никого не застанет, а из тайги может быть убит. Он взобрался в седло.

До деревни добрался за полчаса.

«Быстро! – подумал он. – Когда шли пешком, казалось, что долго и далеко!» Неожиданно к нему пришла мысль, он подъехал к избе с флагом с красным крестом, окна были освещены, а на крыльце курил тот же человек в накинутой поверх белого халата бекеше. Человек смотрел на него и ничего не говорил. Сорокин подъехал к освещённому окну вплотную, вытащил из-за отворота шинели отданную ему Огурцовым бумагу, наклонился и развернул её – лист был чист с обеих сторон. Сорокин не хотел верить своим глазам, крутил бумагу и так и так, даже посмотрел на просвет.

– Посветить? – снова удивительно высоким голосом спросил мужчина и загасил окурок о перила.

Сорокин всё понял, выматерился и повернул Гнедого в обратную сторону.

Он уже выехал на самый край деревни и прошептал:

– А хорош бы я был, если бы с чистым листом явился в штаб. Вот, мол, вам, отцы-командиры, донесение!

Зигзаг тракта, где на него напали, он проехал, теснясь к кострам и всюду понукая Гнедого. Когда проезжал мимо своего костра, увидел, что Элеонора не спит и смотрит на него. На месте, где стояла полурота, были только догоравшие кострища и вытопанный к обочине снег.

«Все ушли, с-суки! Ай да Огурцов, ай да молодец!» Спрашивать соседей-обозников, куда, мол, подевались солдаты, не было смысла, никто ничего не скажет, и он поехал к Элеоноре. «Значит, не было никакого нарочного, значит, всё это Огурцов подстроил сам и людей за собой увел, но я-то ему был зачем?»

– Видите, как вас судьба уберегла!.. – задумчиво промолвила Элеонора, когда Сорокин рассказал ей о том, что с ним приключилось.

«Меня одного, зачем?» – продолжал думать он.

– ...Наверное, она уготовила вам долгую жизнь!..

«...полную приключений!..»

– Если бы с вами что-то случилось, то, если правда, что с вашими родителями произошло что-то нехорошее, от вашей семьи ничего бы не осталось, а так вы... Вы молчите?.. – Элеонора провела рукой по его плечу. – Вам надо поспать, прижмитесь ко мне, но сперва бросьте в огонь дров.

Сорокин дотянулся до поленьев и тихо положил их на догорающие угли, в темноту зигзагами полетели искры и в вышине погасли, и на чёрном небе проступили звёзды.

– Вы сказали, что если бы со мною что-то случилось?.. Вы имели в виду, что если бы меня убили?

– Да, Мишя, если бы вы погибли, тогда от вашей семьи никого бы не осталось... – Элеонора поёжилась и плотнее прижалась к спине Сорокина. – Вот, выпейте и спите, – сказала она и подсунула ему фляжку, – а я теперь буду вас сторожить, только не шевелите дрова, пусть тихо горят, тогда хватит до утра.

Под утро – от подступавшего холода Сорокин просыпался и сразу снова засыпал – костёр оставил от себя только серое пепелище. Когда в последний раз уже в ранних сумерках он на секунду открыл глаза, то увидел, что «этот костёр уже не может греть», и с этой мыслью снова заснул и, как ему показалось, сразу проснулся, потому что почувствовал спиной горячее тепло. Осторожно, чтобы не потревожить Элеонору, он подставил локоть и, поддерживая её, отодвинулся. Тепло сразу пропало. Он пересел и заглянул ей в лицо: она сидела с широко раскрытыми глазами и смотрела в одну точку, кожа на её лице была тёмная и мокрая от пота.

– Энн! – тихо позвал Сорокин и легко потряс её. – Энн, как вы?..

Элеонора повела головой и стала облизывать сухие губы.

– Элеонора, что с вами? – Сорокин смотрел и не знал, что делать: если он отпустит её, она завалится на снег, её надо было пересадить так, чтобы она на что-то опиралась, но для этого он сам должен встать, а значит, отпустить её, и тогда она всё-таки упадёт. Он дотянулся до ближайшего мешка, подтащил его и подсунул, привстал и быстро схватил ещё какие-то мешки. Теперь Элеонора сидела уверенно. Сорокин вскочил, схватил полено, осторожно положил его на ещё тёплый пепел и попытался раздуть, пепел вспыхивал мелкими искрами, но они сразу гасли.

«Ч-чёрт! Надо бы какую-нибудь разжигу!» Он вспомнил слово, которое слышал от солдат. Он огляделся, увидел на обочине обронённые накануне зелёные хвойные ветки рубленого лапника и сразу вспомнил о фальшивом донесении, которое получил от Огурцова. Огонь быстро разгорелся, поленья шипели кипящим соком, соседи уже встали, они пристраивали таган с котлом, полным снега.

– Што делать будем, ваше благородие? – бросая у костра срубленные жердины, спросил хозяин саней. – Дамочка-то ваша хвоя наскрозь, а обоз-то вот-вот тронется... Ка бы не тиф у ей!

Сорокин не знал, что делать. Он повесил свой вчерашний котелок на таган и стал бросать на его стенки снег, снег шипел, парил, плавился и сливался на дно.

«Хоть немного растоплю, хоть полкружки, и дам ей попить!»

Элеонору переложили на сани, она стонала. Её пришлось связать, потому что она пыталась раскрыться, у неё был жар, тот самый, который почувствовал Сорокин; она порывалась расстегнуть ворот шубы и освободить горло. Все видели, как она тяжело дышит, какое красное у неё лицо и блуждающие, безумные глаза. Она что-то бормотала по-английски, но Сорокин не мог понять что.

– Вот-вот уж и обоз тронется, – суется вокруг саней, причитал хозяин. – Что zenки-то распялила?! – Вдруг он заорал на свою жену, которая, явно сторонясь заболевшей Элеоноры, стояла и прижимала к себе двух малолетних дочерей. – Наваливай поклажу и давай харч!

Над обозом вились дымы костров, обозники торопились кончить ночлег, что-то съесть и были готовы тронуться, как только пойдут передние сани. За суетой вокруг Элеоноры Сорокин, только когда на него упала тень, увидел вставшего над ним и костром всадника.

– Вы Сорокин? – крикнул запыхавшийся бледный, с яркими от мороза щеками, одетый в гражданское пальто и юнкерскую фуражку юноша.

– Да, а вы кто?

– Вам срочно в штаб! – не в меру громко крикнул юноша, сунул ему пакет, откинул за спину конец башлыка, намотанного поверх фуражки, и стал заворачивать лошадь.

– А что? Кто? – успел спросить Сорокин, но всадник уже нахлёстывал тощую, голодную лошадь в обратную сторону.

«Чёрт! Как не вовремя!» – Он посмотрел на Элеонору.

Рядом уже стоял хозяин саней.

«Ведь не довезут, бросят по дороге!..» – со злобой подумал он.

– Вы не беспокойтесь, ваше благородие, сколько жива будет, повезём, вы только ворочайтесь, а то женка моя от страху сомлела! А там, глядишь, и конягу свою подкормите, и дамочке снадобьев каких добудете!

Сорокин бросил в костёр ветку, которой мешал снег в котелке, и пошёл к Гнедому. Уже влезши на него, он увидел, что на покрывавшем сани тряпье рядом с Элеонорой лежит фляжка.

«Надо спирту набрать или самогону», – подумал он, подъехал и взял её.

* * *

Слева с юга они слышали шум мотора.

– Сейчас проедет, напылит, надо накрыть уху и продукты, – сказал Михаил Капитонович и достал из авоськи сложенную газету. Гога собрал остатки продуктов, положил их рядом с ведром, Михаил Капитонович накрыл всё газетой и придавил углы камешками. Через несколько минут мимо них в посёлок проехал американский «студебекер» и поволок за собою высокий шлейф густой тонкой пыли.

– Сейчас бы перебраться на тот берег, а то потом эту пыль из одежды не вытрясешь!

– Видно, уже поздно. – Гога поднялся на ноги. – А ничего страшного, Михаил Капитонович, ветер как раз от нас.

Ветер действительно относил пыль на ту сторону дороги.

Гога убрал газету, сел и взялся за ложку.

– А что было дальше? – спросил он, бросил в огонь последний пучок люпинов, махнул рукой, отгоняя дым и комаров, взял фляжку, булькнул оставшейся в ней водкой и попросил у Михаила Капитоновича стакан.

– Дальше?! – задумчиво промолвил Михаил Капитонович. – Дальше меня попросили опознать шестерых убитых ночью... это уже в штабе, когда я туда добрался.

Гога вопросительно посмотрел на него.

– Огурцовские напали на штаб, но нарвались на охранение, и шестеро из них были убиты.

– Они что, к красным, что ли, присоединились?..

– Да! Только это выяснилось уже позже, намного позже. Сначала думали, что просто за жратвой пожаловали, ну и нарвались, а...

– Вы их узнали? А Огурцов?

– Огурцова между ними не было, но этих я узнал, всё же больше месяца с ними в одном эшелоне ехал... – А леди Энн? Элеонора?

– Леди Энн я не нашёл.

– Как?

– Да вот так! Я вернулся в обоз, я думал, что он продвинулся вперед, и только позже узнал, что за штабом с боковой дороги вклинились ещё беженцы и сани моих попутчиков и Элеоноры вместо того, чтобы продвинуться вперед, застряли, а я не доехал.

– И как?

Михаил Капитонович не ответил, взял пачку, вытряхнул на газету рассыпанный табак, вынул папиросу и закурил.

– Давайте-ка мы... заканчивать здесь... сейчас народ пойдёт на работу в огороды, а мы вроде как прохлаждаемся... Тут этого не любят...

Гога стал озираясь, вроде как надо было собирать вещи, а вещей почти не было, и было нечего собирать, кроме двух пустых бутылок из-под водки и ведра с остатками ухи.

– Вылить?

– Да зачем же, донесём, там на дне много рыбы!

Они поднялись, Гога взялся за ведро, Михаил Капитонович завернул остатки еды и в отдельный кусок газеты свежую рыбу и всё положил в сетку.

– Вы не торопитесь?

– Куда? – ещё озираясь вокруг себя, спросил Гога.

– Куда-нибудь не торопитесь? Вы ведь приехали сюда, а здесь тупик, дальше некуда ехать: или оставаться, или возвращаться – откуда вы приехали. Дальше пути нет!

В этот момент послышался шум того же «студебекера», только со стороны посёлка.

– Что-то он быстро в обратную сторону... Накройте ведро.

Гога прикрыл ведро полой пиджака и повернулся спиной к дороге.

– Ничего, ветер не переменялся...

После того как проехал «студебекер», Гога двинулся в сторону дороги, но после слов Михаила Капитоновича о том, что «дальше пути нет», остановился и стал на него смотреть округлившимися глазами.

– Что вы на меня так смотрите? – спросил Сорокин. – Вы же зачем-то сюда приехали?

– Да-а! – задумчиво протянул Гога.

– Что, забыли зачем? Или уже спите на ходу? Или на вас водка так подействовала? – Михаил Капитонович взошёл на насыпь кювета, бросил и растоптал развалившуюся папиросу и тоже остановился.

Гога тряхнул головой.

– Вы, Михаил Капитонович, так рассказывали... Я был будто и не здесь, а там, в тайге, под Иркутском, а здесь... – Он оглянулся на унылый в сером свете утра пейзаж с придорожными люпинами и свинцовой речкой. – Я действительно будто проснулся и... – Гога шагнул в сторону Сорокина, – я когда отбывал, то вычеркнул все воспоминания о Харбинё, о тех годах, а тут мы вспомнили...

– Ну, если так, значит, водка!

Синий пион

Светлана Николаевна услышала, что едет машина, приготовила квитанции, сбросила на одну сторону счёты и пошла на задний двор.

Водитель и сопровождающий быстро перекинули ящики, мешки и кули, расписались, где надо, и она расписалась, где надо, и пошла закрывать. Она вернулась, стала заворачивать четверть головки сыра и задумалась, потом встряхнулась, потом улыбнулась и повела плечами. На прилавке уже стояли две «паллитры» спирту, буханка серого хлеба, куль с картошкой и кулёк с луком. Она повернулась к полкам, взяла две пачки папирос, две банки икры и горбуши – крабов он не переваривал – и упёрлась взглядом в кулёк с луком. «Ох и дух от него! – подумала она и тут же хмыкнула с улыбкой: – Ну и пусть, не помирать же от цинги! А дух я мятой перебью!» Она заглянула в сумочку, где лежала вчерашняя выручка, и положила туда аккуратно согнутые пополам квитанции.

Сегодня был законный для всех выходной день. Она знала, что сегодня её лавка понадобится только нерадивому, потому что все радивые на огородах: вот-вот середина лета и самый короткий летний месяц – июль. Здесь это так, потому что в начале первого летнего месяца, июня, ещё заморозки, а в конце последнего, августа, уже заморозки, поэтому июль – самый короткий, потому что его надо провести на огородах. Она достала из-под прилавка большой навесной замок-«собачку» и решила: «Пусть сегодня кому понадобится разобьются об этот замок, а завтра я как-нибудь отбреншусь!»

Она вышла из лавки, в которую пришла полчаса назад, и не оглядываясь пошла на южную оконечность посёлка. Она шла быстрым шагом, на дороге уже села пыль после «студебекера», она торопилась, у её Михаила Капитоновича сегодня были именины. Слева от дороги за неровными заборами стояли вросшие в землю под самые окна деревянные избы. Когда она только-только приехала сюда, эти избы её удивили, но её муж объяснил, что, когда дома строят на вечной мерзлоте, они за несколько лет опускаются, как он сказал – «сажаются» в землю. Серые избы, серый день, незаметно сменивший чуть более серую ночь. Она перестала пытаться определить черту, когда кончается магаданская белая ночь и наступает день: когда появляется солнце, тогда и день. На глаза под ногами попадались чёрные, фиолетовые и серые камушки гравийной дороги, и справа от дороги до берега речки густели зелёно-сиреневые люпины. На том берегу речки росли низенькие лиственницы, сейчас наполовину зелёные, наполовину жёлтые, всегда готовые к осени, к тому, чтобы осыпаться. А зимой они серые, как выброшенные на улицу после новогодних праздников облетевшие ёлки, с остатками мишуры и ваты.

Она быстро шла с опущенной головой, готовая к тому, что из-за какого-нибудь забора, несмотря на раннее утро, её каждую секунду могут окликнуть: мол, «что, Светка, сегодня твоя лавка не работает?». Ей очень не хотелось останавливаться и что-то говорить и не хотелось, чтобы кто-то видел, куда она идёт. Она не боялась, в Эльгене кто хотел – знал, к кому она идёт на южную окраину поселка, но ей не хотелось останавливаться и зря стоять с ничемными разговорами. Она замужем, а ходит к Михаилу Капитоновичу. А ведь иногда она спрашивала сама себя: а как же муж? И отвечала – муж? А что – муж? А где – муж? Был муж, да весь вышел! Всё шуршал газетами и в тетрадку записывал... никогда этим не интересовалась. Просто человек! Её муж был просто человек! Служил. Учился грамоте, хотел выбиться в люди, и выбился, получил лейтенанта и из вертухая стал опером. Человек как человек. Как все, как люди! А много ли она знала людей? Тех, которые по ту сторону забора, и тех, которые по эту. По эту – вертухай. Их те, которые по ту сторону забора, звали «вертухай», и они сами себя звали «вертухай», со снисходительными улыбочками, наверное, понимали, что гордиться особо нечем, просто работа, просто служба, просто – хлеб.

А другие? Что по ту сторону забора: чёрные, страшные, всегда голодные, с воспалёнными глазами и трясущимися то ли от страха, то ли ещё отчего руками, она их боялась. И были они зэками: одни – ворами и убийцами, а другие и вовсе – враги народа. Ей было страшно! А особенно ей становилось страшно, когда её муж, уже будучи лейтенантом, начал водить дружбу с кем-нибудь из врагов народа и приводил домой: мол, они грамотные! Тогда они долго сидели с ярко горящей лампой и листали и читали книжки из библиотеки и газеты. Тогда она этих чёрных кормила и боялась поднять на них глаза и смотреть, как они ели, как не люди.

Она старалась об этом не думать.

Особенно ей стало страшно, когда она поняла, что её почти год назад исчезнувший муж не просто исчез, а убежал и где-то спрятался, хотя как это было возможно? Ей было страшно, хотя ничего страшного не произошло, когда ворота лагеря открылись. Собственно, когда они открылись, на зоне уже почти никого не осталось – зэчек выпускали партиями и сразу увозили в Магадан, в город, и оттуда уже почти никто не возвращался. Те же, которые вернулись, сказали, что все уехали на материк. Постепенно она привыкла жить так, чтобы об этом не думать, но, когда мысли приходили, она холодела спиной и пальцами рук, и это было очень неприятно. А её Михаил Капитонович был как раз из тех, из страшных, голодных и трясущихся. Но как он был на них не похож, когда она его увидела, и как удивилась, когда узнала, что он...

Она шагнула вправо и наклонилась нарвать цветов, всё-таки она шла на именины и отёрнула руку, когда вспомнила, что Михаил Капитонович не любил люпины, он называл их «беспородные цветы бедности». Нитяная авоська с кулками больно резала пальцы, она бросила сорванные люпины и снова шагнула на дорогу.

Слева проплывал предпоследний забор, потом был последний, а за ним пустырь, и вон уже видна изба, голая, без всякого забора, та, в которую она шла.

Её никто не окликнул.

Когда-то ей очень хотелось ребёночка, маленького, с ручками и ножками, такого – пищалку и ревунчика, как у всех, кто её окружал, но врачиха из сидевших сказала ей, что, пока она живет с её лейтенантом, у неё детей не будет, а сама она здоровая. В первые годы замужества она ждала, а потом эти мысли о ребенке у неё стали уходить, она научилась их гнать и только вздрагивала. Она вздрогнула и сейчас и даже запнулась, и ручки тяжелой авоськи ещё сильнее впились в начавшие неметь пальцы. Она остановилась, вытерла локтем испарину на лбу, дунула в чёлку и подумала: «Ну, ещё немного!»

Её Михаил Капитонович был не похож на «контингент», так говорил её муж. Не в смысле он говорил о Сорокине, он его не знал, а в смысле о «контингенте», об этих – голодных, страшных и трясущихся врагах народа. Светлана Николаевна с 1945 года, как только вышла замуж, оказалась очень близко от контингента, всего-то через колючую проволоку. У неё не было друзей, только муж и его сослуживцы, с ними ей было легко, они чаще всего были такие же, как она, деревенские. Они привычно говорили и привычно шутили и обсуждали одно и то же: урожай, войну, Сталина, Берию и своих начальников. После интерната, куда она попала, когда ей было восемь лет, и откуда вышла сразу замуж, она ничего другого и не слышала.

А когда Михаил Капитонович в первый раз зашёл в её лавку, она даже охнула, правда, никто этого не заметил. Он тогда постоял, осмотрел прилавки и полки и купил пачку папирос и что-то ещё. Она смотрела на него не отрывая глаз и механически подавала то, что он просил, она даже сдачу положила на блюдце, не видя сколько. И он глянул на неё, так – то ли жалостливо, то ли укоризненно. Только потом объяснил.

Светлана Николаевна дошла до крыльца и сразу вспомнила свою Михайловку. Но вспомнила её странно, как бы наоборот: вот если бы сейчас она тронула калитку любого

михайловского дома, в смысле забора, тут же раздался бы лай собак. В Михайловке собаки никогда не лаяли, если кто-то просто шёл мимо по улице, но заливались, стоило тронуть калитку. Однако они были не злые, в её деревне каждый знал друг друга в лицо и по имени, и от михайловских жителей не отличались и их собаки. Они переставали брехать, как только различали, кто вошёл, тогда они повизгивали, виляли хвостами и лизали руки.

Здесь не было забора, не было собак и не было лая – здесь был свист, стон и храп, который она слышала, когда ещё не дошла до крыльца и пяти шагов.

Она вошла на крыльцо, поставила авоську и под окном сорвала несколько люпинов. «Ну и что, что он их не любит? Всё цветы! А где других взять? Я же не Анна Васильевна, чтобы синие пионы!»

Светлана Николаевна распрямилась, слегка встряхнула цветы и отмахнула ими комаров, открыла дверь и шагнула в сени. В сенях было темно, она шагнула вперёд, и что-то упало перед её ногами. Она посмотрела – это был черенок без лопаты, видимо, им хотели изнутри подпереть дверь, но поставили как-то неуверенно. Он упал громко – дерево на дерево, – свист, стон и храп на мгновение оборвались, но сразу и возобновились.

«Выпили мужчины!»

Светлану Николаевну это ничуть не смутило, она прислонила черенок к стене, открыла отделявшую сени от комнаты плотную тяжёлую дверь, обитую ватой и защитным брезентом – сени были холодные, – и вошла.

На грубо сколоченном обеденном столе под окном лежали газетные свёртки с проступившими мокрыми пятнами, с остатками еды; на белёной печке с железными концентрическими кругами стояло закопчённое ведро. Светлана Николаевна дотронулась до него – ведро было тёплое: «Недавно, что ли, пришли?»

Она догадывалась, с кем был Михаил Капитонович. Когда вчера вечером он вышел из лавки, мужчина, тот, который зашёл вслед за ним, прежде чем купить бутылку водки, а он ещё сомневался, что купить – водку или спирт, спросил: «Это не Сорокин?» Светлана Николаевна ответила утвердительно. «Михаил Капитонович? Из Харбина?» «Харбина» он сказал с ударением на последний слог, она снова ответила утвердительно и увидела, что мужчина повеселел и быстрыми глазами стал осматривать прилавок и полки. «А он купил водку или спирт?» – спросил он. Светлана Николаевна ответила, что водку, и он попросил бутылку водки. Потом он, оглядываясь на окошко около двери, быстро-быстро отсчитал деньги без сдачи, извинился, попрощался и вышел. Она видела, как он быстрым шагом, спотыкаясь на игравших мостках-тротуарах, пошёл за Михаилом Капитоновичем. Она поняла, что этот мужчина был из освободившихся зэков, это было видно по его скованным манерам, и что он откуда же, откуда её Михаил Капитонович.

Наконец-то она разогнула пальцы, когда сдвинула газетные свёртки в сторону и поставила на стол авоську. Всё! Она пришла. Только некуда было поставить цветы, пускай люпины и беспородные цветы бедности, а всё же цветы. Она подумала, что надо было бы прихватить из лавки какую-нибудь банку, но увидела на подоконнике пыльный, всегда пустой глечик из обожжённой глины, взяла тряпку, обтёрла его и налила воды.

«А что? Симпатично!»

Она определила глечик сначала на середину стола, но потом переставила снова на подоконник, там глечик с люпинами оказался на месте, только надо было протереть оконные стёкла и смахнуть с подоконника дохлых мух.

Стало красиво.

«Анне Васильевне, наверное, тоже бы понравилось! – Она стояла и любовалась. – И маме! Ладно, надо чистить картошку. Они ведь когда-нибудь проснутся! Лучше пусть от запаха жареной картошки с лучком!»

Три года назад в Енисейске, где до Магадана служил её муж, она познакомилась с Анной Васильевной. Нет, не познакомилась. Ей хотелось думать, что познакомилась, но на самом деле она её только несколько раз видела в поселковой лавке, где обслуживались местные и ссыльные, и слышала её разговоры с местными в клубе, когда бригада маляров белила свежештукатуренные стены. Анна Васильевна тоже белила, а когда Светлана Николаевна пришла туда и принесла продукты, она увидела, как Анна Васильевна по свежей побелке рисовала на стене что-то красивое. То, что делала Анна Васильевна, напомнило ей, как её отец, крепкий и красивый в белой рубахе распояской и с белыми от побелки руками, красил в их доме, в Михайловке, обмазанную свежей глиной печь. И она присела на стул и стала смотреть.

Когда Светлана Николаевна вошла, Анна Васильевна была одна, был обеденный перерыв, и штукатуры из местных ушли на обед. Через несколько минут вошла малярша-ссыльная, но Светлане Николаевне очень не хотелось уходить, и она стала искать предлог остаться, задержаться хотя бы на несколько минут. Когда малярша вошла и глянула на неё, Светлана Николаевна дрогнула уйти, но Анна Васильевна обернулась и сказала:

– Посидите, отдохните, вы же целыми днями на ногах.

Светлана Николаевна помнила, как на неё пахнуло, как будто бы откуда-то издалека, – у мамы была такая мягкая речь и такой взгляд. И она осталась.

Большая комната клуба, зала, была побелена наполовину: на стене напротив окон ещё не было побелки, и из-под штукатурки проступала обрешётка. От этого комната-зала была мрачная, но малярша взяла большую кисть и начала белить. Светлана Николаевна сидела ещё минут двадцать, малярша белила широко, мокрая побелка недолго оставалась серой и в натопленной зале быстро высыхала и белела, и комната на глазах светлела. Всё как было в её родном доме. А Анна Васильевна левой рукой держала жестяную банку с синей краской и рисовала кистью на побелённой стене узкий и длинный узор.

Она стояла на табурете и вела тонкую горизонтальную линию, она загибала эту линию под прямым углом вниз и сразу поворачивала её в ту же сторону, потом поднимала, загибала внутрь, опускала, ещё раз поворачивала уже в обратную сторону, поднимала и вела дальше. Светлана Николаевна помнила уроки рисования и черчения в интернате, но там ученики рисовали прямые линии по линейке, или по обрезу книги, или по краю парты, а Анна Васильевна только передвигала табурет, макала кисть в краску и на глаз вела орнамент по всей длине стены. И было ровно и красиво. Потом она, видимо, устала, подошла к своей напарнице и несколькими округлыми мазками, той же синей краской по ещё непросохшей побелке, нарисовала шарик, как начавший распускаться лепестками бутон, отошла, наклонила голову и стала смотреть. Малярша тоже наклонила голову. Обе смотрели. Светлана Николаевна встала и подошла к ним.

– Хорошо, Анна Васильевна, даже очень, – сказала малярша и глянула на стенку с орнаментом. – И поребрик – хорошо!

– Греческий орнамент? Его хорошо бы по охре, коричневым, но где возьмешь охру, разве тут можно найти?

– Да, Анна Васильевна, и перекрашивать придётся, не уложимся...

– Ничего, – сказала Анна Васильевна, – пусть будет как китайский кобальт...

– Пион, – сказала малярша и концом кисти указала на синий полураспустившийся шарик, только что нарисованный Анной Васильевной. – А вам нравится? – обратилась она к Светлане Николаевне.

– Очень! – выдохнула та.

Всё это Светлана Николаевна вспомнила, глядя на букет люпинов в коричневом глиняном глечике на фоне только что протёртого окна.

– Очень, – вслух повторила она, встряхнула и бросила на стол тряпку.

В той комнате-зале она побыла ещё недолго, пришли рабочие, и стало неудобно просто так стоять или сидеть и ничего не делать среди работающей бригады. Тогда она оставила кульки с продуктами, как попросил её заведующий продуктовой лавкой, а его, в свою очередь, бригадир маляров из вольняшек.

Она ещё раз глянула на глечик с люпинами и стала прибираться в кухне.

Постепенно она привыкла к зэкам и ссыльным. Они оказались очень мирными людьми, и было непонятно, почему они враги народа. Она даже попробовала поговорить об этом с мужем, но он только сердито посмотрел на неё и сказал, что это её не касается.

Картошка была хорошая, чистая. Она поставила у печки табурет, на него таз под очистки, а перед этим развернула свёртки Михаила Капитоновича, которые он оставил на столе, сняла с полки тарелку и переложила в неё то, что ещё можно было считать едой. Он очень дорожил любой едой и очень волновался, когда она проводила у него, как он говорил, ревизию. Негодные остатки она снова завернула в газету и сунула в печь.

В избе было пасмурно, и она рядом на печи пристроила керосиновую лампу. Вдруг Михаил Капитонович стал кашлять и захлёбываться. Она распрямилась, отложила нож и картофелину и уже была готова встать и зайти за занавеску, но он замолчал и стал скрипеть пружинами кровати.

«Повернулся, слава богу!» – с облегчением подумала она.

Потом она ещё несколько раз видела Анну Васильевну, та заходила в лавку за покупками и всегда ей улыбалась. Светлане Николаевне хотелось подойти к ней и расспросить её, хотя бы о здоровье, но она знала, что это бесполезно, потому что – какое там здоровье. Она знала, что все женщины-ссыльные и зэчки были больные: её знакомая медсестра в медпункте рассказывала о каких-то страшных болезнях, особенно женских. А Анна Васильевна всегда ей улыбалась, как мама. И так она и не поговорила, а через полтора месяца они уехали на Магадан. Но она успела услышать странные, страшные вещи. Оказалось, что Анна Васильевна – эта... как её... не жена, нет... любовница Колчака. Светлана Николаевна тогда не поняла, как эта женщина, такая добрая и такая светлая, как орнамент, как пион, который она нарисовала на белой стене... могла быть, не важно, как это называется, – любовницей или женой этого кровавого врага советской власти – Колчака. Самого Колчака.

Она снова взялась за картошку. Картошка действительно была хороша: чистая, крупная, ровная, и нож у Михаила Капитоновича был всегда острый. Светлана Николаевна чистила, и на душе у неё было светло. Она почистила первую, встала, взяла кастрюлю, налила в неё воду и булькнула туда картофелину. Она чистила и думала, что надо убраться в доме, но сначала она почистит картошку, а потом дومتёт и домочет – она не была тут уже целую неделю.

Всё время с начала календарного лета Михаил Капитонович был на огородах. В Эльгене практически не было мужчин, одни бывшие зэчки, и он помогал им копать землю, сажать картошку, капусту и другие овощи. Эльген был выбран руководством Колымлага потому, что здесь был немного более мягкий, чем на всём Магадане, климат и лето чуть длиннее, поэтому тут была устроена женская зона и построен посёлок для ссыльных женщин, и говорили, что эти овощи шли на подкормку других зон. Михаил Капитонович говорил, что это ерунда, он не помнил в баланде ничего свежего: была мороженная сладкая картошка и исквашенная донельзя, осклизлая капуста и что-то ещё, совсем не с огорода. В Эльгене были свежие овощи, но, видать, это и были те овощи, которые здесь и выращивали. Да и как один Эльген мог обеспечить всё магаданское пространство.

Вторая очищенная картофелина булькнула в кастрюлю.

Анна Васильевна – жена Колчака! Как же такое могло быть? Но медсестра в Енисейске, тоже Света, ссыльная из детей врагов народа, утверждала, что это именно так. Светлана Николаевна слушала её, не верила, но не спорила, куда ей, деревенской девчонке из далёкой

алтайской Михайловки. А ссыльная Света была из Маньчжурии. В 45-м году её семью арестовали и отправили в СССР. Свете тогда было пятнадцать лет, и она хорошо всё помнила, а главное, она помнила своих родителей, её отец был старый царский генерал из Оренбурга, и он служил вместе с Колчаком.

Светлана Николаевна отложила нож – от согнутого сидения затекла спина, – она встала, перелила из ведра остатки ухи и вышла.

От избы Михаила Капитоновича речка была недалеко: двадцать метров до дороги и ещё пять от дороги до берега. Светлана Николаевна знала, где Михаил Капитонович ставит мордушу, там был удобный пологий галечный подход к воде, это метрах в пятидесяти вниз по течению, и она пошла туда.

На речной гальке чернело кострище, он всегда разводил огонь в этом месте; и на середине течения расходились водяные нити от самого большого кольца мордуши. Она посмотрела по сторонам, подоткнула юбку, сняла чулки и вошла в воду. Кольцо мордуши мелко вздрагивало, а иногда сильно дёргалось, значит, в мордуше была рыба, и надо её вытащить, пока живая. Но Светлана Николаевна решила сначала отмыть ведро. Вода была ледяная, она вышла на гальку и стала оттирать ею ведро, сначала внутри, а потом копать снаружи. Когда в выходной день, один раз в неделю, она приходила к Михаилу Капитоновичу, она много раз ходила на речку, чтобы набрать полную бочку воды и нагреть её для помывки. Михаил Капитонович всегда предлагал ей свою помощь, но она отказывалась, стесняясь поселковых, которые сразу бы поняли, что Михаил Капитонович таскает воду для помывки, а он смеялся: мол, а неужели думаешь, не подумают.

Но она была упрямая.

Она оттёрла ведро, сполоснула его и снова зашла в воду. Нашупала ногой камень, прижимавший кольцо мордуши, сдвинула его и только успела схватить кольцо, которое течение уже норовило унести, и оттащила мордушу к берегу. Рыбы было много, почти целое ведро. Она вытащила всю мордушу на берег, стряхнула, сложила кольцом в кольцо и положила в стороне под низкий обрывчик там, где была граница галечного спуска. Прятать было не от кого, потому что не крали. Как только речка вскрылась, Михаил Капитонович ловил много и раздавал рыбу. Денег почти не брал, брал продукты и ненужные железки, из которых делал что-то нужное из того, что в Эльген не завозили. Да и кто, кроме него, мог бы с этими кольцами в чулке из сетки управиться.

Сейчас она принесёт ведро с рыбой, закончит чистить картошку, потом почистит улов, и всё будет лежать в воде и ждать, а она принесёт ещё воды и продолжит уборку, а когда закончит, можно будет готовить еду. Так она думала, натягивая чулки и оправляя юбку. И вдруг её мысль застопорилась: а сегодня с помывкой ничего не получится – их же двое. Обычно, когда они с Михаилом Капитоновичем были одни, она помогала ему вымыться. Баня в посёлке была, осталась ещё со времен зоны, но топилась она один раз в неделю, и там мылись только женщины, и было мало воды, её надо было таскать с той же речки. А Михаил Капитонович приспособился дома, и всё стало проще, когда они принесли из её дома большую бочку и корыто. Иногда ей приходила мысль о том, что они моются в бане вдвоём, но от этой мысли она заливалась горячей краской. Она помнила, как в детстве её мыла мама. Их деревня стояла на такой же, как эта, речке с перекатами – Слюдянке. Тогда мама, помыв её, закутывала и приносила к соседям, а сама возвращалась, и к маме шёл папа. И когда она пыталась представить себе, как мама и папа мылись вдвоём, она снова заливалась горячей волной. Но ведь мама и папа были муж и жена. Всё время, когда она сама жила с мужем, они были обеспечены мытьём, всегда была баня, и были мужские и женские дни, и в голову не приходили никакие мысли.

Она взяла ведро и пошла к дому.

Она дочистила картошку, много, потом почистила всю рыбу, которую принесла с речки и накрыла. Мужчины ещё не проснулись. Всё то, что она сейчас делала, напоминало ей её дом и её детство. Мама всегда была дома, а папа – не всегда. Мама была занята домашним хозяйством: скот, огород. Они друг дружке помогали с соседкой – тёткой Марией, а тёткин муж, дядя Гоша, был братом её отца – Николая. Оба – Дмитриевичи. Оба женились почти в одно время, Светлана Николаевна этого, конечно, не помнила, но с разницей в год или два, и жён взяли из одной деревни – Алексеевки, что в десяти километрах от Михайловки. Светлана играла с их детьми, двоюродной сестрой Верой и младшими братиками Лёначкой и Ванечкой. Когда мама приносила её к ним завернутую в простыню и одеяло, Ванечка и Лёначка всё норовили стянуть их с неё и тащили за углы, а Вера их отгоняла. Она была старше Светы. А когда Свете исполнилось восемь, мама и папа пропали. Тётка Мария плакала и прижимала её к себе. Потом пропал – так все говорили – дядя Мирон и чуть позже дедушка Дмитрий – Дмитрий Игнатьевич. И всё потому, что дядя Мирон отбил невесту у какого-то начальника из района. Потом Светлана Николаевна только помнила, что их долго с тёткой Марией, Верой, Лёначкой и Ванечкой куда-то везли на телегах, потом они по мрачной реке плыли на широкой барже, а тётка Мария держала их за руки и от себя не отпускала. И очень хотелось есть. В этом смысле она понимала Михаила Капитоновича, когда он следил, чтобы она не выбрасывала то, что ещё годилось в еду.

В Енисейске медсестра Света рассказала ей не много: то, что знали её родители, и то, о чём говорили там, где она жила, в Харбинё. Но и этого Светлане Николаевне хватило надолго, чтобы об этом думать. Образ Анны Васильевны и её судьба захватили её. Только она мучилась оттого, что эта светлая женщина любила такое чудовище, как Колчак. Но постепенно в её мыслях Колчак превратился просто в мужчину, а вокруг шла жестокая и кровавая Гражданская война, где красные дрались за свою свободу с белыми и во главе белых был Колчак. Со временем Анна Васильевна и Колчак обособились в отдельную историю, и Светлана Николаевна ощутила, что она тоже хочет так любить. Мужа она побоялась спрашивать об Анне Васильевне, хотя наверняка он что-то знал.

Эта история вдруг снова всплыла в её сознании, когда она познакомилась с Михаилом Капитоновичем. Она спросила его, он подтвердил, что это так и было, но рассказал только о том, что, когда в иркутской тюрьме Колчак прощался с Анной Васильевной перед расстрелом, они поцеловались, и Колчак сказал: «За всё надо платить». Ещё Михаил Капитонович сказал, что «наверное, во всей восточной белой армии и обозе Анна Васильевна Тимирева и Александр Васильевич Колчак были самой счастливой парой! Но за всё приходится платить». Светлана Николаевна очень этому возмутилась: как это так? Платить надо, когда в магазине или в лавке что-то покупаешь: еду, одежду или книжку – за это надо платить. А за что здесь платить? Нельзя воровать – это ясно, и этому не надо даже учить, но за что ещё надо платить? За любовь?

Она была не согласна.

Она вышла из оцепенения, взяла тряпку, но её взгляд упал на люпины – «беспородные цветы бедности», – она отшвырнула тряпку и зло подумала: «А где взять белые розы или синие пионы?» Про белые розы, которые Колчак дарил Анне Васильевне, ей рассказала медсестра Света, а синие пионы она видела сама на стенке клуба в Енисейске. В Благовещенске, когда закончилась война, совсем незадолго до того, как выйти замуж, они с Верой были на торжественном вечере в Доме офицеров, они сидели в предпоследнем ряду, но обе видели, как на сцене кто-то кому-то торжественно вручил букет, который был сверху совсем белый, а снизу темно-зелёный. Что это были за цветы, она не знала, но Вера вздохнула и сказала, что это букет белых роз.

«Верочка! – подумала Светлана Николаевна про свою двоюродную сестру. – Где она сейчас? В каком-то Урюпинске!

Давно не было писем».

Они вместе плыли на широкой барже по реке, и тётка Мария всех детей: и Веру, и Лёничку, и Ванечку, и её, Свету, – держала рядом с собой, потому что у баржи не было бортов. Потом их высадили на большую поляну посреди леса, и тётка Мария сказала, что теперь они будут жить тут. Но жить было негде. Они носили землю и выбрасывали её на опушке, так у них появилась землянка, а потом тётка Мария, Ванечка и Лёничка умерли от голода, а Веру и её учительница иногда кормила кашей и хлебом. Потом появился Верин папа дядя Гоша и увёз их в интернат на Куликан на речке Зее, а сам ушёл в армию. Потом они с Верой учились в Благовещенске в техникуме и обе вышли замуж. Вот там один раз она и видела белые розы. Но это сказала Вера, а где она сама видела белые розы? Вокруг Михайловки и на берегу их речки Слюдянки они собирали только полевые цветы и рыжие саранки.

Светлана Николаевна смахнула воспоминания, услышала храп, увидела очищенные рыбу и картошку и вспомнила, что вчера в лавке Михаил Капитонович сказал, что почти не осталось соли. «Как я забыла?» – подумала Светлана Николаевна и поняла, что ей необходимо в лавку. Она быстро подмела пол, потому что мужчины могли в любой момент проснуться, и вышла из дома.

В навесном замке-«собачке», которым была замкнута лавка, она увидела свёрнутую трубочкой бумажку. «Записка? – удивилась она. – От кого?» Она пожала плечами и развернула.

*«Как только сможешь, зайди ко мне.
Ю.К.».*

Она прочитала, снова пожала плечами, вошла в лавку, быстро насыпала полкило соли и вышла. «Что-то случилось?»

Записка её удивила, потому что с Юлией Константиновной, бывшей начальницей оперчасти зоны и начальницей её мужа, она почти не общалась. Она ждала, что та будет её спрашивать, куда делся муж, а через неделю после того, как он пропал, сама пришла к ней с этим вопросом. Но Юлия Константиновна пожала круглыми полными плечами и сказала, что, мол, не переживай, найдётся, в Советском Союзе никто пропасть не может. Потом в жизни Светланы Николаевны появился Михаил Капитонович, и она старалась Юлии Константиновне не попадаться на глаза, и та её не искала, и вдруг записка.

Юлия Константиновна жила в доме офицерского состава, но, когда зону распустили, она переехала в самую ближнюю к речке освободившуюся избу, чтобы самой таскать воду было недалеко.

Светлана Николаевна вошла, когда Юлия Константиновна закладывала в печку дрова.

– А, явилась, – сказала та, с трудом распрямляя затёкшие ноги. – Садись, плохие новости.

Светлана Николаевна не глядя взялась за спинку стула и села. У неё в голове пронеслась мысль о том, что, может быть, наконец-то пришла какая-то весть о её родителях. Она спрашивала о них у мужа, но тот говорил, что ничего узнать не может. Светлана Николаевна ему не верила и часто обижалась – это была вторая причина для их нечастых размолвок. Была и первая, но она об этом молчала, – это отсутствие ребёнка.

Юлия Константиновна прошла рядом с ней и тяжело уселась за стол.

– Твой муж Семён Николаевич Семягин погиб смертью храбрых. Я сегодня об этом получила телефонограмму. А тебе надо в Магадан, в управление.

Светлана Николаевна не поняла, о ком говорила Юлия Константиновна, и смотрела, как та устраивается на стуле и сметает рукою со стола несуществующие крошки.

– А ты связалась с этим... – Юлия Константиновна сказала это, никуда не глядя.

– Как?.. – Светлана Николаевна помотала головой. – Он же пропал!

– Пропал! – хмыкнула Юлия Константиновна. – Я говорила тебе, что у нас в Советском Союзе никто не может пропасть. Ты помнишь, о чём он говорил перед тем, как «пропасть»?

– Помню! – ответила Светлана Николаевна. Она с трудом понимала, о чём идёт речь, и отвечала со страхом: – Он говорил, что, когда лагерь откроют, контингент его «порвёт»... Так и говорил.

– Готовился! – Юлия Константиновна снова хмыкнула. – А ты, дурёха, не поняла! Меня же не «порвали»! Всё было секретно... Он погиб в перестрелке с бандитами, золотоискателями... где-то на севере, за Сусуманом, в тайге...

– А почему ничего не сказал?.. Сказал бы хоть, что в командировку...

– В командировку? На сколько? Они же не на старых разработках роют, их ещё надо найти! Потому и не сказал, что понимал, куда идёт, не хотел, чтобы ты, глупая, волновалась! А ты? Ладно, завтра или послезавтра на несколько дней сюда приедут инженеры, один уже приехал, посмотреть, где тут можно поставить драгу, да и можно ли, она всё ж большая, а у нас золота немного, и вернуться в Магадан. Ты поедешь с ними и явишься в управление, там тебе назначат пенсию.

– А?..

– А больше я ничего не знаю.

Светлана Николаевна, как и все на большом Магадане, знала, что, когда открыли лагерь, многие бывшие зэки из уголовных занялись нелегальной добычей золота и часть бывшей охраны лагерей была переформирована в специальные отряды по их поимке.

Светлана Николаевна сидела с открытым ртом. «За всё приходится платить!» – вдруг всплыло у неё в голове.

– И что теперь? – Она ещё до конца не поняла того, что только что услышала.

– Как – что? Получишь пенсию и живи, что же ещё? Только подумай с кем и как! – Юлия Константиновна плотно сидела на стуле со сложенными на груди полными руками.

«За всё приходится платить!» – снова пронеслось в голове у Светланы Николаевны.

– А что с моими родителями? – вдруг спросила она.

– Семён тебе ничего не говорил?

– Нет! – У неё наконец получилось что-то осмысленное.

– Наверное, расскажут в управлении, только я знаю, что твоя мать отбывала в Караганде, а отец где-то на Урале...

– А за что? – Светлана Николаевна начала чувствовать свои руки.

– 58-я часть 10, а подробности расспросишь там... – И Юлия Константиновна куда-то показала головой, видимо в сторону управления.

«За всё приходится платить!» – в третий раз промелькнуло в голове у Светланы Николаевны.

Она встала.

– Что, пойдёшь праздновать именины своего? – спросила Юлия Константиновна, и, как показалось Светлане Николаевне, её тон смягчился.

– Я только помогаю...

– Ладно, помогай! В общем, живи, что уж там... – Юлия Константиновна качнулась. – Всё, больше у меня для тебя ничего нет. Только как инженеры приедут, зайди ко мне в поселковый совет, я выпишу тебе бумагу и дам паспорт... В управление просто так не пустят.

Светлана Николаевна вышла. Теперь фраза «за всё приходится платить» билась в её голове, как пойманная в мордушу рыба, и она обнаружила, что забыла у Юлии Константиновны соль.

Уже от последнего забора она увидела, что в окне горит свет – когда она уходила, лампу она задула.

«Проснулись», – подумала она.

Когда она зашла в сени, распахнулась обитая брезентом дверь, и в проёме показался Михаил Капитонович.

– А вот и Светлана Николаевна, – сказал он и шагнул в сторону, пропуская её в комнату. – Знакомьтесь, это Игорь Заболотный, Игорь Валентинович, он тоже...

– Из Харбина, я знаю, – сказала Светлана Николаевна и протянула ладошку вставшему ей навстречу мужчине. «Харбина» она, так же как Михаил Капитонович, произнесла с ударением на последний слог. У неё даже получилось улыбнуться.

– Игорь, – представился Игорь. – Спасибо вам, Светлана Николаевна...

– А ещё его зовут Гога, – засунув руки в карманы заправленных в шерстяные носки брюк, сказал Михаил Капитонович.

– А вы через неделю уедете? – спросила Гогу Светлана Николаевна.

Михаил Капитонович сначала удивлённо посмотрел на Светлану Николаевну, потом на Гогу.

– Я пока не знаю, если геологи определяют, что драгу можно ставить, то останусь, а если нет – значит, уеду с ними.

– Они должны завтра приехать?

– Завтра или послезавтра...

Михаил Капитонович стоял и смотрел то на Гогу, то на Светлану Николаевну.

– Ну, тогда я поеду с вами или с ними. – Светлана Николаевна видела удивление Михаила Капитоновича.

– Как скажете, Светлана Николаевна, – ответил Гога.

– Ладно, – вымолвил Михаил Капитонович, – будем считать, что это я тут человек новый...

– Мой муж нашёлся, – сказала Светлана Николаевна и, не зная, куда себя деть, начала протирать бутылки со спиртом.

Михаил Капитонович, не отрывая взгляда от Светланы Николаевны, сел.

– Он в Магадане?

– Если привезли! – За полчаса, которые ей понадобились, чтобы с заходом в лавку за солью вернуться от Юлии Константиновны, она успела немного успокоиться и подумать.

– Как привезли? А что с ним?

Гога стоял и с удивлённым лицом слушал их диалог.

– Его уголовники убили, и мне надо в управление, там, сказали, мне выпишут пенсию...

Ни Михаил Капитонович, ни Гога не проронили ни слова, пока Светлана Николаевна, отставив бутылки, молча резала на сковородку чищеную картошку.

– Я ничего не знала, – наконец промолвила она, – я только знала, что он очень опасался, что, когда лагерь откроют, с ним что-то может произойти, случиться.

Услышав это, мужчины пошевелились.

– Он сам это говорил... – Светлана Николаевна говорила всё это, не очень понимая зачем. – А оказывается...

– А откуда это стало известно? – спросил Михаил Капитонович. – И когда?

– Только что – от поселковой. – От Юлии...

Светлана Николаевна кивнула и стала перемешивать картошку.

«За всё приходится платить!» – снова подумала она.

– За всё приходится платить! – задумчиво промолвил Михаил Капитонович, и Светлана Николаевна вздрогнула.

Он посмотрел на Гогу, зачерпнул железной кружкой из кадки свежей воды, по половинке разлил её в три стакана, открыл бутылку спирта и спросил Светлану Николаевну:

– Ты выпьешь?

ШТИН

В бесснежной и безлесной, ровной как стол маньчжурской долине стояли составы с войсками.

- Серёжа, уберите ноги, надо проветрить! Угорим!
- А кой чёрт проветривать? Что так подыхать, что в этой вонище и угаре задохнуться!!!
- Серёжа, снимите ноги, уже невозможно дышать!
- Черт с вами, открывайте, только мне мои ноги девать некуда.

Штабс-капитан Штин пробрался между лежащими и сидящими к двери вагона и нажал плечом, дверь отъехала на несколько сантиметров, и в щель тут же просунулся штык.

Михаил Капитонович Сорокин сидел рядом с дверью и заглянул в щель: на насыпи стоял китайский солдат и со зверским лицом тыкал штыком.

– Закрой, закрой, ламёза, – кричал солдат, он делал стойку наступающего в атаке и снова тыкал штыком в проём двери.

- Офицера зови! – заорал на него Штин. – Капитана зови!

Китайский солдат стоял на крутой покатой насыпи, пол вагона был ему выше головы, поэтому острый штык доходило только до щиколотки Штина.

- Дышать нечем! Черт косоглазый, капитана зови, не понимаешь?

– Моя не понимай, мала-мала понимай! – кричал солдат, он перехватил винтовку в левую руку, а правой потянулся к камню на насыпи.

– Закройте, Штин! – сказал Михаил Капитонович и потянулся к двери, в этот момент китайский солдат умудрился достать до его запястья остриём штыка.

– У, дьявол! – сквозь стиснутые зубы прорычал Михаил Капитонович, слизнул рану, упёрся плечом, и тяжелая дверь теплушки отъехала. Он спрыгнул и со всей силы ударил китайского солдата в зубы, тот уронил винтовку, скатился вниз и стал визжать.

– Быстро, Миша, быстро назад! – Штин сидел на корточках и протягивал Сорокину руку. – Давайте хватайтесь, уже бегут!

Михаил Капитонович ухватился, взобрался в вагон и выглянул: солдат, которого он только что ударил, уже стоял на ногах и целился в него, справа и слева по крутой насыпи криво бежали другие солдаты, и среди них неловко махал пистолетом на тонком шнуре офицер.

– Толкайте, господа, – зарычал Штин, пытаясь сдвинуть заевшую дверь. Длинный, сухой как жердь бывший казанский студент-медик Серёжа Серебрянников тоже упёрся в диагональную перекладину, и дверь поехала; в это время больно ударило по ушам, это выстрелил китайский солдат. Пуля пробила дверь и плоскую дощатую крышу вагона, дверь ударилась о косяк, закрылась, и в вагоне стало темно и тихо. Дверь держали три пары рук.

– Михаил Капитонович, вы как? – сквозь зубы прорычал изо всех сил напрягшийся Серёжа. – Никого не зацепило?

Ему не ответили, все двадцать человек, обитатели вагона, замерли в ожидании того, что будет дальше. Было слышно, что снаружи собрались китайские солдаты, они кричали и долбили прикладами в дверь, но не пытались её открыть. В вагоне ждали, что будут стрелять. Но вдруг снаружи всё смолкло, и в дверь раздались три негромких стука, так, как стучат гости, что они пришли и чтобы их пустили.

– Кто там? – в наступившей тишине отдельно и очень вежливо спросил Серёжа, и Штин, изо всех сил упиравшийся рядом с ним, не удержался и прыснул. Снаружи грохнул револьверный выстрел, видимо, вверх, потому что новых дыр в стенках теплушки и в крыше

не появилось, и никто из обитателей не упал раненый или убитый. И сразу снова раздались такие же три стука.

– Откройте, мы стрелять не будем, – сказал снаружи китайский голос почти без акцента.

Штин переглянулся с Серёжей и Михаилом Капитоновичем. Михаил Капитонович поджал губы и развёл руками.

– Спрячьтесь, туда, к стене... – прошептал ему Штин.

– Нет смысла, нас тут всего двадцать человек, – ответил ему Сорокин. – Захотят – найдут. Открывайте!

– Извините, а стрелять не будете? – крикнул Серёжа.

– Не, стрелять не будем! – ответил снаружи тот же голос.

Три пары рук толкнули дверь.

На крутой насыпи, с трудом удерживая равновесие, в окружении солдат, опутив лицо, стоял майор и засовывал в кобуру револьвер. Он поднял лицо и протянул руку Штину. Штин помог майору взобраться в вагон, тот потопал ногами и ударил перчатками по пыльным лакированным крагам.

– Нарушай дисциплина не нада! – сказал майор. – Через два часа поедем. Вы едете на станция Пограничная, там мы вас сдадим вашему генералу. Дверь, – он оглянулся и махнул перчатками на открытый проём, – можно открывай немного на остановках: моя понимай – свежий воздух, хорошо дыши! – сказал он и стал искать глазами.

Сорокин протолкался к майору и встал перед ним.

– Вы? – спросил Сорокина майор.

– Я, господин майор! – ответил Сорокин.

– Больше так не делай, он, – майор кивнул в сторону китайских солдат, – простой солдата, вчера лаобайсин, совсем мала понимай военный дисциплина. – Майор обернулся и что-то стал кричать солдату, который всё ещё размазывал по лицу кровь. Солдат вытянулся и стоял, часто моргая глазами. – Я объяснил ему, что винтовка надо стреляй, а штык коли! Попадай надо!

Майор спрыгнул на насыпь и показал, что дверь надо закрыть, только можно оставить небольшую щёлку. В вагоне передохнули.

– Вот так, господа, нам сошел с рук бунт. – Это сказал подполковник в застёгнутом под самый подбородок потёртом френче, его левая рука была подвязана.

Серёжа обернулся к нему:

– Алексей Валентинович, может быть, попросим у них бинт и перевяжем вас? Так и до гангрены недалеко!

– Попробуйте! – ответил подполковник и безнадежно махнул здоровой рукой.

Серёжа высунулся в щель и закричал китайскому майору, но тот только отмахнулся.

– Черти косоглазые! Ничего у них нет! Давайте разбинтуем, я посмотрю...

– Давайте, голубчик! Да Харбина осталось несколько сот верст, жалко будет не доехать! – ответил подполковник и стал расстёгивать френч.

Серёжа обратился к коренастому прапорщику:

– Гоша, подбросьте дров и вскипятите воду!

Прапорщик пошёл в угол и вернулся с полным ковшом и несколькими поленьями. В центре вагона-теплушки стояла буржуйка, а на ней медный чайник.

– Надо, чтобы закипело, нет йода, хоть кипячёной водой промою, и бинты бы прокипятить. А дайте-ка мне ваш лоб, Алексей Валентинович.

– Серёжа, голубчик, позвольте я присяду, ноги еле держат.

– Конечно, Алексей Валентинович!

Штин и Сорокин переглянулись. Бледный, со вспотевшим лицом подполковник, кряхтя, сел на дощатый пол и опёрся спиной о стенку вагона.

– У вас жар, господин подполковник, ложитесь... Раздвиньтесь, господа, дайте место, – скороговоркой проговорил Серёжа находившимся рядом с подполковником и стал разматывать побуревший от засохшей крови бинт.

Сорокин почесал в затылке и присел. Это была его вина. Две недели назад, когда эшелоны с каппелевцами пересекли границу, китайское пограничное командование распорядилось, чтобы все сдали оружие: огнестрельное и холодное. Командующий русскими войсками генерал Вержбицкий пытался протестовать, но китайцы были непреклонны, они не хотели, чтобы двадцать тысяч белых русских были с оружием. Когда переговоры кончились, всех поэшелонно выводили на плац и разоружали. Подполковник стоял рядом с Сорокиным, и, когда Сорокин бросил свою винтовку, та, донельзя изношенная, самопроизвольно выстрелила. Пуля, непонятно как оказавшаяся в патроннике, срикошетила от вагонного колеса и попала подполковнику в локоть. Китайцы принесли бинт и немного йода и сказали, что у них больше ничего нет.

Серёжа размотал бинт, прополоскал его, отжал и положил подполковнику на грудь. Рана была мокрая, сизая и раздувшаяся от локтевого сустава до самой кисти; пуля была внутри.

– Дайте штык! Вытерпите, Алексей Валентинович?

– Не вышла? – спросил подполковник, щурясь и поглядывая на Серёжу.

– Нет, надо резать, а то...

– Понимаю, – вздохнул Алексей Валентинович.

Серёжа взял штык – единственное, что взамен оружия по японскому штыку на вагон дали китайцы – чтобы можно было вскрывать консервы, – и стал раскалять его в буржуйке.

– Господа, – обратился он без адреса, – чайник потом помоем, закипит, бросьте туда бинт, чтобы минут пять прокипел.

Сорокин взял бинт с груди подполковника, ещё раз прополоскал его, отжал и бросил в чайник. Прапорщик Георгий Вяземский отвернулся, его мутило.

– Вдыхайте глубоко носом, Гоша, – сказал ему Михаил Капитонович и обратился к Штину: – Держите ноги...

– И возьмите ремень, – Серёжа обратился опять без адреса, – сложите вдвое или втрое и вложите ему в зубы и освободите мне дорогу.

Офицеры третьей роты второго полка воткинской дивизии, вернее, того, что от неё осталось, разошлись так, что от буржуйки до стены, где лежал подполковник Румянцев, образовался проход. Михаил Капитонович убедился, что вода в чайнике начала кипеть, и быстро прошёл к своей лежанке, из сидора он достал обшитую кожей стеклянную фляжку и винтовочный патрон.

– Серёжа, здесь немного спирта, а тут порох, может пригодиться... берёг до случая.

– Вовремя, я думал, йода хватит до Харбина, а ведь сколько простаиваем... Господа, нет ли ножа перочинного поострее, этим штыком можно только прижечь...

– Есть, – сказал прапорщик Вяземский и вынул из кармана маленький складной швейцарский офицерский ножичек.

– Намочите его сначала в кипятке, а потом полейте... что там у вас, Михаил Капитонович! Глядишь, проскочим...

Сорокин взял у Вяземского нож, подхватил лезвием бинт и, стиснув зубы, отжал кипятком; Серёжа перехватил у Сорокина обмытый ножичек и подставил лезвие под несколько капель спирта из фляжки и быстро сделал разрез вдоль локтя. Румянцев не успел охнуть, из раны брызнула кровь и гной, и Серёжа полез туда пальцами. Через секунду пуля глухо ударилась об пол, в это время прапорщик Вяземский поднёс Серёже раскалённый штык, и тот вложил его в рану. Румянцев рыкнул в зажатый между зубами ремень и потерял сознание.

– Вот и вся анестезия, господа, – сказал Серёжа и обтёр пот. – Полевая хирургия, господа... – Он обратился к Сорокину: – У вас руки были в кипятке, сожмите рану, вот так, и подержите, пока бинт будет сохнуть...

Через пять минут растянутый над буржуйкой метр бинта высох, и Серёжа перебинтовал рану.

К Сорокину и Серёже подсел Штин.

– А крови совсем мало! – обратился он к Серёже. – Почему раньше не резали?

– Надеялся, что выйдет с гноем, но пуля легла поперёк мышцы, а потом, я же не знал, что у нас тут целая операционная, – сказал Серёжа, осматривая подполковника. – Когда очнётся, влейте ему глоток, чего у вас там, остальное оставьте, может быть, ещё придется перевязывать. Крови почти немного, но вся на мундире.

– Это ничего, жена отмоет, – также осматривая Румянцева, сказал Михаил Капитонович.

– А он что, из Харбина?

– Да, из заамурцев, охранял вот эту дорогу ещё при царе... – А были и такие?

– Да, целый Отдельный корпус пограничной стражи... – И что, у него там жена?

– Да, как он рассказывал, и две дочери...

– Если судить по его возрасту, наверное, уже на выданье?

– Этого не знаю, будете в Харбине, познакомитесь, вы же его спаситель!

– Тьфу, тьфу, тьфу! Хорошо бы так!

Штин поправил под головой Румянцева свёрнутую шинель, и они встали над ним.

– Ну что, господа, надо бы помыть чайник, а то Георгию совсем будет плохо, брезгливый молодой человек.

– Я ничего, я уже привык, – отозвался прапорщик Вяземский. В это время эшелон тронулся, прапорщик взял чайник, поболтал его, пошире приоткрыл дверь и выплеснул воду.

– А почему всё же вы сразу не резали? – снова обратился к Серёже Штин.

Серёжа ухватился за потолочный брус, потому что вагон стало качать, эшелон набирал скорость.

– Несколько причин, господа. – Он был смущён. – Во-первых, с моим ростом мне было трудно решиться, потому что делать это на коленках сложно, всё же нужен стол или хотя бы что-нибудь подобное, во-вторых... а почему вы... – он обратился к Сорокину, – не сказали, что у вас что-то есть, в смысле...

– Спирт? – Сорокин видел, что Серёже не хочется отвечать на вопрос Штина. – После одного события я не расстаюсь со спиртом, хотя бы в мизерном количестве, а потом, я видел, что у вас есть йод, и или вам дали бы ещё, или... ну, тогда уж пригодился бы мой спирт.

Штин рядом ухватился за поперечный брус стенки вагона. Серёжа мельком глянул на него и увидел, что Штин молчит и ждёт: ясно, что он хочет услышать ответ до конца. Серёжа обречённо вздохнул.

– Я ведь, господа, недоучившийся студент, я закончил только два курса, когда всё это началось; мы резали только покойников в анатомическом театре, а к живым нас и близко не подпускали, и я...

– И вы боялись ответственности... – перебил его Сорокин, он сочувствовал Серёже.

– И не только, я... боюсь крови! Я уже давно понял, что моё врачевание – это порошки и микстуры, поэтому от самой мысли, что я буду вскрывать чьё-то живое тело, мне становится плохо... секунду, господа, я пощупаю, как у него температура.

Серёжа присел на корточки над Румянцевым, и даже в таком положении он был удивительно долговязым – для того, чтобы пощупать лоб подполковника, ему понадобилось сложиться втрое. Штин будто в первый раз увидел это, оттопырил губы и стал понимающе кивать. Сорокин сочувственно смотрел на Серебрянникова.

– Высокая, но не выше того, что была, – сказал Серёжа и мелко перекрестился под подбородком.

– Вы верующий? – спросил Штин.

Серебрянников распрямился и, как фонарщик на полицейского, уставился сверху вниз на Штина.

– Господин штабс-капитан...

– Успокойтесь, Серёжа, успокойтесь! Вы, наверное, думаете, чего это я к вам привязался? – как полицейский, увидевший, что на фонаре – фонарщик, снизу вверх ответил Штин, вытащил из кармана кисет, стал крутить самокрутку, и ситуация разрядилась. – Нам ещё предстоит повоевать, – стал объяснять он. – От нашей роты осталось... – он осмотрелся: семнадцать человек стояли и сидели на полу теплушки, – даже считать не хочу! Вы, – обратился он к Серёже, – прибились к нам уже перед самой границей, вот я и подумал: а кто будет вытаскивать нам осколки и пули и перевязывать раны?

Серёжа ничего не ответил, сел на пол и сразу лёг, повернулся на бок лицом к Румянцеву и оказался почти вдвое длиннее, чем подполковник.

– Не уверен, господа, что я вам пригожусь.

Штин посмотрел на Сорокина. Михаил Капитонович снова развёл руками и поёжился, потому что дуло из всех щелей, в вагоне стало холодно.

Ночью состав остановился рядом с каким-то большим городом. Китайцы сняли больных и раненых. Сорокин помог сдать Румянцева, Серёжа выпрыгнул из вагона и ухватился за ручки санитарных носилок. Сорокин принял от китайцев два мешка с углем и увидел солдата, которому он днём дал по морде. Китаец крепко держал свою винтовку и смотрел на Сорокина.

«Этот зарежет, как свинью, и как звать не спросит!» – подумал Михаил Капитонович и, не дожидаясь, когда вернётся Серёжа, улёгся.

Утром, когда состав летел на всех парах, обнаружилось, что Серёжи в вагоне нет. Каким-то образом также выяснилось, что ночная остановка была около большого города с вполне симпатичным для русского уха названием Цицикár и что до Харбина осталось не больше ста километров.

– Думаю, что Харбин проедет мимо нас, – сказал Штин.

– Почему? – Рядом с Сорокиным сидел прапорщик Вяземский.

– Потому, Гоша, что незачем им, чтобы двадцать тысяч безработных – только и умеющих, что воевать, здоровых мужчин – собрались в одном месте.

Штин оказался прав, и составы с каппелевцами простояли на запасных путях в нескольких километрах от Харбина неделю. Китайцы охраняли эшелоны, в город отпускали десятками, но когда из первой, второй и третьей десятки возвратилась едва ли половина, да еще и в стельку пьяная, перестали это делать, а в начале января 1921 года все эшелоны с белыми, находившиеся в Маньчжурии, под давлением китайских властей пересекли границу Приморья и выгрузились снова в России, на станции Гродеково.

2 февраля из штаба генерала Глебова пришёл приказ о пополнении и переформировании, и Штин был назначен вместо убывшего Румянцева командиром роты. От самого Румянцева ещё в дороге была получена записка, подписанная им, его супругой и дочерьми. В ней Алексей Валентинович обращался к Штину и Серёже Серебрянникову со словами благодарности; в конце было приглашение, в том числе и «крестному Сорокину М. К.»: «Если будет возможность, прошу посетить нас в Харбине по адресу улица Садовая, 12, угол Пекинской», и приписка о том, что он сейчас лежит в госпитале, в той же палате, в которой лежал в феврале 1905 года.

– Это после Мукдена, что ли? – ухмыльнулся Штин. – А Серёжа Серебрянников, странно! Румянцев думает, что он с нами! Что бы это значило?

Все промолчали, только Михаил Капитонович почувствовал, что ему перед Румянцевым всё ещё ужасно стыдно: «Я же опытный человек, как так неосторожно я тогда не разрядил и бросил эту дурацкую винтовку? А Серёжа? Может быть, его китайцы прихватили?»

22 мая, уже из Гродекова, Штин с группой охотников вышел на поиск в тайгу ловить красных партизан, которые вели разведку и взрывали железнодорожное полотно, и вернулся через три дня. Сорокин лежал в лихорадке, и Штин уходил без него.

Люди входили в казарму, добирались до своих мест и, не раздеваясь, в шинелях и сапогах, только на ходу сбросив заплечные мешки и оружие, падали на свои лежаки и засыпали.

Сорокин подошёл к Штину:

– Ну как? Я вижу – все живы! Никто не ранен?

– Нет, не ранен, – ответил Штин, – выплюсь, расскажу вам интересную историю.

Выспаться, однако, ему не удалось, через два часа его вызвали в штаб, он ушёл, пошатываясь и держась за косяки, и вернулся только через неделю.

31 мая, по прошествии недели, Штин вошёл эффектно, у него были заняты руки, и он толкнул дверь плечом. На его согнутом локте висела большая плетёная корзина, а к груди была прижата тяжёлая фанерная коробка, в ней позвякивало.

– Кто-нибудь помогите же, черти вас раздери!!!

Два человека подхватили корзину и коробку, а третий самого Штина.

– Всё понятно, Михаил Капитонович! Господин штабскапитан прибыл из Владивостока! – сказал прапорщик Вяземский, вынимая из коробки бутылки. – А иначе откуда виски?

– Мы победили! – сказал Штин, дошёл до стола, рухнул на табурет, положил голову на локти, поводил глазами и заснул.

Утром проспавшийся и опохмелившийся Штин рассказал, что, оказывается, это были его слова: «Наши затевали переворот!»

– Я прибыл вовремя, за день до переворота, о котором, естественно, никто не догадывался. Двадцать шестого мая мы вошли в город. Сопротивления нам почти не оказали, только их ЧК долго пуляло, даже пришлось попрыгать по крышам... один засел и отстреливался. Откуда только у него было столько патронов? Потом они зачем-то вывели на Светланскую наших пленных, человек триста и всего-то с десятком охранников, те мигом сдались, так что во Владивостоке снова наше, снова временное правительство, Приамурское, во главе с... – Меркуловым... – вставил Вяземский.

– Да, Спиридоном Дионисьевичем! Вот такие дела, господа! А у нас какие новости?

– Вы вовремя вернулись, господин штабс-капитан, – сказал Сорокин, он был рад Штину, – нашу роту и вторую вливают в группу генерала Молчанова, сегодня снимаемся и переезжаем в Никольск-Уссурийский...

Штин секунду помолчал и сказал:

– Ну что ж, господа, к Молчанову – это хорошо, только я уже капитан, Михаил Капитонович. Сам генерал Вержбицкий подписал... а потом был приём у английского консула, откуда, собственно, всё это... – Штин указал рукой на коробку с виски и корзину с продуктами и оглядел себя. – Только вот переодеться было – да и есть – не во что... И как-то надо погоны соорудить, без дырочек... – И он одёрнул свой донельзя потёртый, потрёпанный френч.

Вечером 31 мая две роты погрузились в вагоны, и ближе к ночи состав двинулся в Никольск-Уссурийский.

– Господин капитан, – Сорокин вспомнил, что Штин недоговорил накануне своего тайного и срочного отъезда во Владивосток, – вы недорассказали, что вы в последнем рейде встретили... в тайге что-то...

– Необычное! Да! – Штин из горлышка допил остатки виски. – Гоша, голубчик, – обратился он к прапорщику Вяземскому, – у нас осталось ещё что-нибудь от гостинцев мистера английского консула?

Вяземский достал из-под полки четыре бутылки.

– Дайте, но только одну, а то завтра будет нечем отпраздновать прибытие. А в тайге? – Он обратился к Сорокину. – В тайге мы слышали стрельбу, недалеко, короткую, выстрела два или три, и не очень торопясь туда выдвинулись. Вышли к зимовью и обнаружили две свежие могилы, одна братская: в ней был какой-то китаец, контрабандист или партизан, с ужасными следами пыток, даже вспоминать не хочу; а в братской два японских солдата и офицер. Так вот этот офицер был ещё жив! Представляете? Мы его вытащили из могилы, а он – живой!

– И куда вы его, в тайге?

– Железная дорога была недалеко, и, на наше счастье, проезжала японская дрезина, мы его и отдали! Вот! И вся история!

– Да! – Сорокин кивнул. – Я думал, что-то ещё...

– Ну, конечно, наверняка вам об этом уже рассказали... Ужасно! Всё ужасно, господа, особенно этот китаец... А я слышал, у вас тут с семёновцами были неприятности?

– Да, непонятно, как на атамана не могут найти управу?

– Найдут, господа, я думаю, найдут.

* * *

Ночью Сорокин долго лежал и не мог заснуть. Состав шёл медленно, с частыми и долгими остановками. Михаил Капитонович ворочался на вылежанном задохшемся матраце полки плацкартного вагона. Под полкой напротив, занятой храпевшим Штином, звенели бутылки. Сорокин сел, взял одну, открыл и нащупал в сидоре фляжку. Переливать в темноте было неудобно, и он пристроился около окна, но и там было темно, и бутылка и фляжка только угадывались. Однако он всё же изловчился, пролил всего чуть-чуть, слизнул с руки и отпил из бутылки: «Может, засну!» Но не спалось.

«Что же за черт, климат здесь такой, уже лето, а туманы и дожди...» Он вспомнил, что похоже было на германском фронте, когда они стояли на краю Мазурских болот. Он посмотрел в окно и не поверил глазам – за окном вёрхом ехали казаки. Темнота и густой туман размывали их очертания, и они, находясь в пяти саженях, казалось, шли вплотную к вагону. Туман накрыл все звуки, и казаки, похожие в своих папах на кентавров, ехали бесшумно. Неожиданно их начало закрывать что-то тёмное. Сорокин придвинулся вплотную к стеклу и увидел платформу. На платформе, бесшумно двигавшейся по параллельному пути, стояли пушки, две, рядом с ними шевелились люди. Платформа двигалась вперёд, она проехала, и за ней окно закрыло что-то большое, чёрное, издававшее звуки, оно шумело и пыхтело – это был паровоз. Паровоз тоже прошёл, за ним показался первый вагон, низкий, с башенными орудиями на крыше. Из вагона начал стрелять пулемет – он дал длинную очередь.

«По кентаврам или куда?.. – с раздражением подумал Михаил Капитонович. – Чёрт знает что происходит! На что патроны тратят? Надо по казакам! Семёновцы завели с нами свару, народ не хочет идти к нам воевать за себя же!..» Эти мысли о том, что у белой армии есть враг, кроме Красной армии, приходили ему в голову и раньше – с того момента, когда он прибыл в Читу и где впервые столкнулся с семёновцами.

«Чита!»

Михаил Капитонович отвёл взгляд от окна и стал смотреть в стенку напротив, поверх спящего Штина. Он положил фляжку на колени. Он подумал, что эта фляжка, как всегда, когда в голову приходили трудные вопросы, поможет ему успокоиться, и стал думать о леди Энн. Он искал её в обозе тогда, как только вернулся из штаба. На Гнедом он проскакал его чуть ли не весь и всматривался в лица. Он искал Элеонору среди умерших, на обочинах тракта, куда их складывали, потому что мёртвые были тяжелее живых и их было трудно тащить измождённым, голодным лошадям. Он несколько дней простоял на льду Байкала и пропустил мимо себя сотни и тысячи людей. Потом он нагнал штаб полка, и в Мысовой, на том берегу, осматривал санитарные поезда, увозившие больных и раненых в Читу. Он искал хозяина саней, на которых её оставил, но он даже не знал его имени, не спросил, – кто же мог предположить, что это может понадобиться. Конечно, она могла умереть, умирали сотни людей, кто замёрз, кто оголодал, кого подкосил тиф или добавил осколок, засевший где-то близко к сердцу. Он не боялся, что она умрёт, – он боялся, что она могла умереть на снегу в тайге, если её ссадили с саней. Наступил момент, когда он уже не мечтал её увидеть, он хотел знать только одно: что она не осталась там, по ту сторону озера живая, больная и обречённая на смерть. За полгода, пока он был в Чите, он обошёл всё, что мог: и избы, и гарнизоны, и госпитали, даже видел на перроне корреспондента Иванова, который уезжал в Харбин, но не смог к нему протолкаться, чтобы что-то спросить или сказать.

Бронепоезд за окном встал. Стоял и их эшелон. Сорокин сидел в темноте. Вдруг бронепоезд лязгнул железами. Михаила Капитоновича это отвлекло, и он стал смотреть в тёмное окно, как тот медленно движется, и почему-то подумал, что хорошо бы сейчас оказаться не в этом вагоне, который пуля из трёхлинейки прошьёт насквозь, не в окопе и даже не верхом на коне, а в «бронё» «поезде», он так и придумал это слово отдельно: «бронё» «поезде». Слово «бронё» показалось ему очень хорошим, надёжным, он так чувствовал, и это ему понравилось, что он в «бронё». Он думал об этом раньше – это уже сколько – это уже без малого шесть лет он на войне; и тут он понял, почему слово «бронё», которое он отделил от слова «поезд», так ему нравилось – он хотел жить. Сорокин открыл фляжку и выпил много.

Утром он проснулся, как ему показалось, от старческого бормотания. Он уже ворочался, понимал, что почти проснулся, но не хотел открывать глаза и продолжал разговаривать с каким-то стариком, которого он не знал: он знал, что он его не знает, но каким-то образом его знал этот старик и говорил. Потом он услышал бормотание старика снаружи, не во сне и проснулся окончательно. Штин вполголоса распекал Вяземского.

Вяземский сидел рядом с Штином, с опущенной головой и зажатыми между колен ладонями. Он молчал, но в воздухе так и витало, мол: «Виноват, господин капитан!» С верхней полки на них свесился новичок в их роте – инженер-капитан Гвоздецкий, который оказался весельчаком.

– Как же это можно, уважаемый Гоша, так неосмотрительно оставить бутылки, и без присмотра? Непозволительно так... – отчитывал Штин. – Где нас ещё будут ждать господа консула, с подарками, а иногда хочется выпить, а иногда это... – Полезно! – вставился сверху Гвоздецкий.

Штин замолчал и снизу вверх уставился на Гвоздецкого.

– Виноват, господин капитан. – Гвоздецкий увидел, что он вставился не вовремя.

– Вот, посмотрите, одна бутылка уже почти пуста... – После секундной паузы Штин снова взялся за Вяземского.

– Это я! – утреним голосом прохрипел Михаил Капитонович, он понял, что стариком в его сне было бормотание Штина.

– Что – я? Доброе утро, Михаил Капитонович! Это вы? Что вы?

– Это я ночью брал виски, я перелил во фляжку, вот. – Сорокин пошарил рукою за спиной и показал полную фляжку. Штин и Вяземский с облегчением вздохнули. Вяземский выпрямился и с благодарностью улыбнулся Сорокину.

– Доброе утро, Михаил Капитонович!

– Доброе, господа, доброе...

– Хотя доказано, что утро добрым не бывает! – снова сверху вставился Гвоздецкий.

Вяземский прыснул в кулак и улизнул. Сорокин смотрел на Штина. Штин с открытым ртом снизу вверх смотрел на Гвоздецкого, потом повернулся к окну, с выражением досады и безнадёжности ударил себя по коленям и шумно со свистом, как паровоз, выдохнул.

– В конце вагона... там, принесли бак воды, можно умыться, – сказал Гвоздецкий Сорокину и пружинисто спрыгнул с полки.

Когда Сорокин с умытым и свежим лицом вернулся, Штин молча слушал Гвоздецкого.

– ...всё расхищено, растрчено и уничтожено. Государственная касса окончательно пуста. От средств и припасов на казённых и таможенных складах ничего не осталось. Железная дорога влачит жалкое существование, – Гвоздецкий показал на окно, – сами видите... Морское судоходство, от которого Владивосток имел основной доход, сократилось на семьдесят процентов, и печальные остатки его требуют фундаментального ремонта при отсутствии на то каких-либо средств, – я инженер и знаю это не по слухам. Казённые предприятия дают огромные, ничем не оправданные убытки; государственные учреждения дезорганизованы, значительная часть населения – развращена демагогией власти... безработица растёт не по дням, а по часам. Возрастающая бедность для массы населения неизбежна и неотвратима...

– Это вы о чём, господа? – спросил Сорокин, он уже сидел напротив.

– Одинцов! – громко позвал Штин, и из-за перегородки выскочил маленький худенький мальчишка в солдатской форме, не по размеру большой на его тощенькой фигуре. – Господину поручику принеси, что там – хлеб, каша, колбаса, чем нас сегодня кормят господа интенданты?

Одинцов щёлкнул, а точнее, брякнул каблуками сапог, видимо, и они были ему велики, и убежал.

– Освежитесь, Михаил Капитонович? – спросил Штин и достал бутылку виски.

Сорокин вопросительно кивнул в сторону убежавшего солдата.

– Вы, Миша, видимо, допоздна не спали, а утром всё проспали. У нас пополнение, а у меня даже денщик, вот так!

Сорокин понимающе кивнул.

– Так что? – снова спросил Штин.

– Я бы сначала чего-нибудь съел...

– Ха, господин поручик, – хохотнул Гвоздецкий, – съесть, а потом выпить – это не освежиться, а просто выпить и закусить!

Сорокин улыбнулся и кивнул – Гвоздецкий с его задорным характером был ему симпатичен. Он был представлен вчера, перед самой посадкой в поезд, и, когда расселись и поезд тронулся, оказалось, что киевлянин Николай Николаевич Гвоздецкий – весельчак и большой знаток анекдотов, в особенности еврейских.

Сорокин ел и тоже слушал Гвоздецкого, тот рассказывал о том, что происходило в течение последних шести месяцев во Владивостоке. Он говорил быстро: то серьёзно, то пересыпая свой рассказ шутками и анекдотами: из местной жизни, а иногда из своей прежней – киевской. Штин спросил его, каким образом он из Киева оказался здесь на Дальнем Востоке. Гвоздецкий рассказал, что из Крыма он не поплыл с остатками войск Врангеля в Турцию, а окольными путями вернулся на родину, в Киев.

– А там творилось что-то невообразимое... – с грустной улыбкой произнёс он, и в этот момент поезд остановился.

Все посмотрели в окно. Туман не только не рассеялся, а, казалось, стал гуще. За окном на траве стояла фигура в пехотной шинели с винтовкой у ноги и какой-то тряпкой на штыке.

– По-моему, мы приехали, – сказал Штин и ушёл.

Через несколько минут он вернулся, Гвоздецкий в это время рассказывал о том, как в Киеве и в Одессе ЧК расстреливала, как он сказал, русских, начиная с тех, кто ещё не кончил гимназию, и включая всех, кто носил шляпу, ходил с портфелем или был похож на офицера.

– Тогда, господа, я не выдержал, добрался до Одессы, потом в Бессарабию, оттуда через Дунай и из румынской Констанцы...

– Извините, Николай Николаевич, – перебил его Штин, – вы сейчас доскажете, меня вызывают в штаб к Молчанову, оказывается, господа, мы остановились в пригороде Никольска-Уссурийского. Думаю, через час-полтора я буду.

Через полтора часа Штин действительно возвратился и сказал, что их полк передислоцируется в Спасск.

– Завтра мы должны быть на месте!

* * *

– Мишель! Вы ли это? – спросил вошедший Штин, заслонив собою проход. Сорокин обернулся и встал.

– Какими судьбами? – Штин развёл руки для объятий и шагнул к Сорокину.

– Узнал, что вы заняли этот форт, и пришёл проведать.

Как вы?

Они обнялись.

– Одинцов! – крикнул Штин себе за спину. – У нас есть чем угостить гостя?

Прошмыгнувший у него под рукой щуплый Одинцов вытянулся и доложил:

– Я уже предлагал их благородию, но они отказались!

Штин отодвинулся от Сорокина и посмотрел на него.

– Михаил Капитонович, а вы хоть знаете, от чего вы отказались? Одинцов, ты сказал их благородию, от чего они отказались?

– Не беспокойтесь, господин капитан, я не отказался, я попросил подождать вас, и вот, я тоже с гостинцем, – сказал Сорокин и показал рукою на бутылку яванского рома, которая, одинокая и неоткупоренная, стояла на столе.

– А откуда это, если не секрет? – Штин взял бутылку и стал разглядывать этикетку.

– Не секрет! Гвоздецкий на несколько дней ездил во Владивосток и привёз, и, по-моему, много.

Штин насупил и поставил бутылку на стол.

– Нет уж! Обойдёмся без его подарков. Понятно, конечно, дарёному коню в зубы не смотрят, но иногда надо смотреть в глаза тому, кто дарит. Одинцов! – снова крикнул он.

– Тута я, ваше благородие!

– Тута! Сколько раз я говорил тебе, что тута может быть только Марфута! Или уже другую нашёл? А?

Одинцов потупился.

– Представляете, Миша, мы замерзаем на Волочаевской сопке, а он нашёл-таки себе... А, Одинцов?

«Одинцов – Огурцов!» – вдруг пришло в голову Сорокину, и тут он заметил, что Штин хромает.

– Что с ногой, ранение? – спросил он Штина.

– «Малыш уж отморозил пальчик!» – в ответ процитировал Штин.

– А мат ему грозит в окно! – сказал сидевший рядом с Вяземским поручик Суламанидзе. Когда Сорокин вошёл в каземат форта № 5, он застал там скучающих поручика Вяземского и поручика Суламанидзе, с которым до этого не был знаком.

– Не мат, а мать, князь! – сказал в его сторону Штин.

– Я знаю, что не мат, а мат, но нэ получается, и какой я князь, если как рядовой в атаку бэгаю?

– Да, вы правы, перед пулей что жид, что эллин, – ей, госпоже, всё едино. Одинцов? – снова крикнул Штин. – Готово? Как *учил*?

– Так точно, ваше благородие, как учили – в этой – в грязи, то бишь в глине...

– Я тебе дам «в грязи»... – Штин замахнулся на денщика, но тот увильнул. – В глине, глиняная твоя душа, в глине!

Неси, чтобы одна нога тут, а другая...

– Тама!.. – огрызнулся Одинцов и выскочил из каземата.

– Шельма, ведь говорил-говорил, а он всё кривится, всё, говорит, одно: что грязь, что глина. Неуч царя небесного!

– Олух, гаспадин капитан! Русские говорят – «олух царя небесного»!

Штин махнул рукой и пошёл в дальний, тёмный угол каземата и вернулся оттуда с четвертью.

– Вот, Мишель! Медовуха чистейшая!..

– А кстати, тоже Одинцов нашёл, как и Марфуту... Штин покосился на ухмыляющегося Вяземского.

– Что и говорить, пронырлив, стервец, там – Марфута, тут – самогон-медовуха. Между прочим, лучше любой водки и коньяка...

– А может, не пронырлив, а просто среди своих? Мы для них «ваше благородие» «барин», а он свой? – Сказавший это Вяземский, который, как показалось Сорокину, нисколько не изменился за прошедшие с их последней встречи полтора года – только похудел, посмотрел на своего соседа, поручика Суламанидзе.

– Ладно, господа, философствовать. Да где же он? – Штин развернулся к настежь открытому входу в каземат.

В этот момент, перегораживая свет, в проходе показался Одинцов, он нёс большой железный лист, на котором на двух толстых обгорелых прутьях орешника были нанизаны по три больших шара пепельного цвета.

– Ну, наконец-то, только не ставь на стол, а обей прямо здесь на листе. На полу! – сказал ему Штин. – Смотрите, господа!

– А *вас* кто научил? – с нарочито серьёзной миной спросил Вяземский.

Суламанидзе хохотнул.

Штин снова покосился на Вяземского и Суламанидзе.

– Вот – что пользы от Гвоздецкого! Это он меня научил: птица, запечённая в глине... – Штин стал вертеть головой, что-то выискивая. – Пока я ходил, хоть бы посудой какой-никакой обзавелись!

Вяземский встал и пошёл в тот же дальний, тёмный угол каземата и вернулся с большим деревянным подносом и кружками.

– ...Он... – говорил Штин, глядя на Одинцова. – Ты только аккуратно, мясо глиной не испачкай... Он добрался до Суэца и, пока ждал парохода до Бомбея, научился у арабов печь в глине голубей... а это фазаны.

– Специев боле не осталось, ваше благородие, – пожаловался Одинцов. Он ударил по первому шару штыком, глина раскололась, и на пруте осталась чистая тушка уже без перьев и кожи; она парила, лоснилась и пахла так, что Сорокин стал сглатывать пресную голодную

слюну. Вяземский и Суламанидзе, с подносом, подсели на корточки к Одинцову и перекладывали очищенных фазанов.

– Абъедение, господа! Я такого ещё не кушал, клянусь! Вчэра бил первый раз! До сих пор слюнки текут.

Они очистили фазанов со второго прута, и на подносе как раз уместились шесть тушек.

– А! Господа! Даже этот ядовитый запах японского бетона перебивает! – воскликнул Штин.

Это была правда: когда Сорокин зашёл в каземат, то сразу почувствовал сырой запах бетона.

– И главное, господа, когда готовишь, ни одна сволочь об этом не знает, не унюхает, потому что не пахнет, оно в глине как в герметическом сосуде!

– Это правда! – Суламанидзе уже хозяйничал за столом. – Когда мой дед, Давид Суламанидзе, жарил шашлык, то по всей долине такой запах бил, слюни рэкой текли, три соседние дэрэвни захлэбнулись! Люди даже в горы переселились, а сосед съездил в Тифлис и купил бинокль!

– Жаль только, что бульон остаётся в глине. Даже не знаю, как его перелить. – Штин впился взглядом в мясо и в предвкушении потирал руки. – Одинцов, возьми хотя бы вот ножку и давай кружку, заслужил!

Одинцов вытащил из кармана мутный гранёный стакан и поставил на стол.

– А мясо? – спросил Штин и стал отрезать. – Георгий, налейте...

Вяземский открыл четверть и налил Одинцову полный стакан.

– Пока мяса не съешь, пить даже не думай! – Штин держал на лезвии ножа парящий кусок и смотрел на Одинцова, но тот стоял с такой миной, как будто бы только что наступил ногой во что-то...

– Ваше благородие, не могу я в этой... – пробурчал он.

– Господин капитан, – вступился за него Вяземский, – не мучайте его, ведь не впрок пойдёт, жалко, особенно самогон... у него наверняка банка тушёнки имеется, да и перловка ему привычнее.

– И нам болшэ дастанэтся! – Суламанидзе осмотрел стол и хлопнул в ладоши. – Ицоцхлэ, Одинцов, ицоцхлэ! – И он махнул ему рукой.

– Ладно уж, иди, – смиростивился Штин.

Одинцов с благодарностью глянул на Вяземского, потом на Суламанидзе: двумя пальцами, чтобы не расплескать, и подставляя под дно ладонь, взял налитый до краёв стакан и, балансируя телом, вышел из каземата.

Вяземский разлил по кружкам. Сорокин увидел, что Суламанидзе подбоченился и с кружкой в руке начал подниматься, но тут на него посмотрел Штин, Суламанидзе смутился, пожал плечами и сел.

– Ну что, господа, с богом? Вы, князь, ещё успеете сказать, ваш тост никуда не уйдёт, а то, пока вы будете говорить, всё простынет, и враг успеет начать наступление! За встречу!

Печённые в глине фазаны оказались вкусными и ароматными. Самогон тоже удивил Сорокина, это была крепкая жидкость, чистейшая и со вкусом мёда. Тихо вошёл Одинцов и на белом лоскутке положил на стол мелко нарезанные дикий лук и чеснок и несколько неочищенных чесночных головок.

– Он у вас прямо... – Сорокин хотел что-то сказать в похвалу денщику, но Штин поднял вверх указательный палец и резко ударил кулаком по чесночной головке.

– Берите, господа, чистите, теперь чеснок не застрянет под ногтями.

Было вкусно. Сорокин уже давно не ел так вкусно.

– Господин капитан спас Одинцова от Гвоздецкого, – неожиданно произнёс Вяземский. – Теперь наш Одинцов не может надышаться на их благородие.

– А как он оказался у Гвоздецкого?

Штин, Вяземский и Суламанидзе переглянулись, но продолжали есть. Сорокин увидел это и замялся, он не понял, может быть, об этом нельзя было спрашивать.

– Мишель, вы тогда от нас уже перешли на бронепоезд и этого, естественно, не знаете: после боя у Казакевича Гвоздецкий сам переколот штыком всех раненых коммунистов, которые остались на поле боя. Потом, когда мы заняли Хабаровск, он попросился в контрразведку.

Сорокин ел, слушал Штина и видел, как кивают Вяземский и Суламанидзе.

– Мы уже отступали, сейчас не вспомню, по-моему, это было под Бикином. Мы успели отойти, а Одинцов попался. В плену у красных он был сутки, потому что нам стало обидно, он, почитай, на нас троих один денщик, и через сутки мы его отбили. А он оказался уже в красноармейской форме, новенькой и тёплой, и тут, как назло, к нам пожаловал господин Гвоздецкий и попросил Одинцова поговорить: мол, он там был, может, чего видел. Я не стал возражать. Мы отходим... на следующий день Одинцова нет... ещё день – нет. Мы навалили красным, и на сутки было затишье, я пошёл искать Гвоздецкого, то есть Одинцова. Нашёл, а он его пытается! Представляете? Привязал спиной к лавке, надел на голову холщовый мешок и из кружки льёт воду в рот и в нос. А рядом ещё полная кружка и бак с водой. Тот лежит, захлёбывается, не видит же, когда вздохнуть, а когда выдохнуть... А тот льёт почти не переставая. Я не выдержал...

– А за что он его? – Сорокин слушал, он был потрясён.

– Спросите его! – Штин потянулся к четверти.

– Мстит за Крым, – вместо Штина ответил Вяземский.

– За Крым, Одинцову?

– Всем красным! Не может им простить киевскую Чека и кровавую баню, которую нашим пленным устроили в Крыму Землячка и Бела Кун.

– При чём же здесь Одинцов, я не понимаю? – От удивления Сорокин перестал есть.

– Это он так ненавидит красных, Михаил Капитонович! – ответил Штин и обратился к Суламанидзе: – Вот теперь, князь, давайте ваш тост!

Суламанидзе встал, поправил ремень, поднял кружку и произнёс:

– За честь, господа, за нашу афицерскую честь!

Он выпил и сел. Штин и Вяземский удивлённо посмотрели друг на друга, а потом на Суламанидзе:

– И это всё? Эх вы коротко, прям как не кавказец!

– А что тут гаварить, тут и так всё ясно!

– И что вы сказали Гвоздецкому? – Услышанное не укладывалось у Сорокина в голове. Прошёл всего час, как он был в контрразведке у Гвоздецкого, которого, как и Штина, тоже не видел почти полтора года. Тот обрадовался, одарил ромом, был весел, шутил, хотя новости, которые он поведал, были грустные: красные подтянули много сил и готовят наступление.

– Я только сказал ему, потом, что Одинцова допрашивали в красной контрразведке, только накормили, одели в новое и налили чаю. Да и что он мог знать? – И Штин грохнул по столу кулаками. – Что он мог увидеть или услышать, чего мы не знали? Что у них осталось целыми три пулемёта и две пушки? Мы и так это знали! Нельзя так, господа, – не доверяешь, выведи и расстреляй, благо у них для этого есть целый комендантский взвод...

В это время все услышали отдалённый звук пушечного выстрела. Через минуту раздался ещё один. Тут же вздрогнул под ногами пол, и чуть не опрокинулась на столе бутылка с ромом. Первый взрыв ударил перед фортом, и через секунду за фортом ударил второй.

– Взяли в вилку! Сейчас будет третий! Давайте-ка на воздух, господа! Георгий, – Штин обратился к Вяземскому, – заткните самогон и поставьте его в уголок, авось он нас дожждётся!

Все вышли.

– А который час?

Из сумерек севернее и северо-восточнее Спасска доносилась ружейная стрельба.

– Пять тридцать пополудни, господин капитан... – ответил Вяземский.

– А темно-то уже как... – Штин спускался по земляным ступенькам в ближний окоп. – Георгий и вы, князь, оставайтесь здесь, засекайте артиллерию и присматривайте за фортом три!

Сорокин шёл вместе с Штином, тот затягивал ремень и поправлял портупеи.

– А что же он, выстрелил два раза и замолк, а где третий?

– Думаю, пристреливают ориентиры, – откликнулся Сорокин.

– Ну, пусть пристреливают! У вас какие планы, Михаил Капитонович?

– Пойду к себе!

– Я так мыслю, что они пойдут на форт номер один и форт номер два. Вы где стоите?

– В версте от форта семь на юг, на траверзе у Воскресенки...

– Я бы отвёл ваш бронепоезд ещё на версту, так чтобы только достреливать до фортов один, два и три. Снарядов много?

– Есть запас, на два-три дня хватит... – Видите форт номер два?

Сорокин посмотрел в северном направлении, но уже только угадывались постройки самого Спасска и рядом через железную дорогу – станции Евгеньевка.

– Сейчас его почти не видно, он прямо от нас – туда. – Штин показал рукой. – На направлении форта два есть церковь, помните? Хороший ориентир. От вас форты один, два, и три примерно на одной дистанции, практически по дуге, по часовой стрелке, вот вам схема, и с богом. Стойте, ваша фляга при вас?

– Нет! – ответил Сорокин.

– Ну, тогда прихватите этот ваш ром, который вы принесли! Всё, идите, долгие проводы – горькие слёзы, – стал торопить Штин. – Нет, стойте! Если нам понадобится огонь, мы что-нибудь подожжём, и бейте прямо туда, где горит!

Через сорок минут Сорокин докладывал начальнику бронепоезда.

– Всё соответствует вот этой схеме, господин полковник, – в завершение сказал он и рядом с картой полковника положил схему Штина.

– Только я не стал бы глубоко оттягиваться в тыл, а в остальном я согласен с вашим капитаном, – подвёл итог полковник. – Пойдёте наверх, на броню, Михаил Капитонович?

– Да, господин полковник, сейчас уже ничего не видно, но по вспышкам, может быть, удастся что-то засечь.

– Тогда возьмите схему вашего капитана! Хорошая схема.

После доклада Сорокин около часа просидел на броневой башне, замёрз и перешёл на платформу. Короткие вспышки были видны на севере там, где находились 1-й и 2-й форты. Ещё стреляли за 3-м фортом, на востоке, от Славянки и Дубовской. Однако для такого количества войск, которое с обеих сторон было подтянуто к Спасску, ночь была спокойная.

«Разведка», – подумал Сорокин. Он вспомнил, что когда-то мечтал оказаться за бронёй, внутри брони, внутри бронированного чего-то. Но в конце июня 1921 года, переведясь из роты Штина на бронепоезд «Волжанин», быстро понял, как это неудобно и некомфортно: летом – невмоготу жарко, а зимой холодно. Несмотря на то что в броневгонах были печки, тепло было только рядом и можно было угореть. На платформе было вольготней, и, когда позволяла боевая обстановка, можно было развести костёр, если на деревянный пол платформы подложить железный лист. «Только не сейчас!» – подумал Сорокин, и, как бы в подтверждение этому, севернее Спасска раздался мощный артиллерийский залп. Сорокин посмотрел на часы – было 5 часов 30 минут утра. «И шумно!» – додумал он, вспомнив о грохоте, когда бронепоезд осыпали снаружи пули и осколки снарядов.

Залп был сильный. Сорокин не видел вспышек, но через мгновение увидел, хотя ещё не рассветало, как воздух в темноте над Спасском замутился, и услышал звуки взрывов, которые долетели оттуда. «Пошло, – подумал он. – Начали артподготовку».

В течение дня 8 ноября бронепоезд, в котором находился Сорокин, маневрировал. Он то ближе подходил к Спасску, почти вплотную, то отходил на юг и вёл стрельбу из всех орудий по красным, наступавшим на форты № 1, 2 и 3. Сорокин стрелял со своей платформы и не забывал поглядывать в сторону форта № 5, однако там было тихо. В середине дня стало тихо на всех направлениях, но это длилось недолго, и северная окраина Славянки на юго-востоке от Спасска взорвалась канонадой: в трёх местах восточнее фортов 2 и 3 красные подвезли полевую артиллерию и гаубицы и пять часов до самого вечера стреляли по форту № 3. Для корректировки ответной стрельбы по красным батареям полковник отправил на 3-й форт одного из двух бывших на бронепоезде сигнальщиков. В 22.56 бронепоезд подошёл к военному городку на южной окраине Спасска, на минимальную дистанцию стрельбы по батареям красных. В 23 часа канонада смолкла, и через несколько минут со стороны форта № 3 послышалась ружейная и пулеметная стрельба.

– Они закончили артобстрел и пошли в наступление, сигнальщик там больше не нужен, – сказал полковник.

Сорокин приказал стоявшему рядом с ним с фонарём второму сигнальщику, матросу Сибирской флотилии, просемафорить на 3-й форт, чтобы направленный туда сигнальщик возвращался обратно.

В командирской рубке полковник развернул карту.

– Судя по всему, красные решили устроить ночной штурм и, видимо, попытаются взять первый, второй и третий форты, – сказал он. – Мы им сейчас ничем помочь не сможем. Какие мысли? – Он оглядел приглашенных на совещание офицеров. – Михаил Капитонович, вы тут всё исходили пешком, что вы думаете, если вдруг они сломят сопротивление фортов?

Сорокин смотрел на карту.

– Для этого, я думаю, они ночью могут двинуть конницу вот здесь, чтобы с юга обойти третий, пятый и седьмой форты и выйти на железную дорогу, чтобы отрезать нам отход на юг. – Он показал предполагаемую линию наступления красной конницы и посмотрел на полковника. – Нам надо не дать себя окружить и, если конница пойдёт, остановить её. Надо встать южнее – на станции Прохоры, кроме того, вот здесь, восточнее железной дороги в пятидесяти саженях от полотна, есть протяжённая балка, по профилю почти как траншея, и, если на ночь высадить туда десант и выставить передовое охранение, мы их остановим...

Присутствующие смотрели на карту.

– А я бы, господин полковник, – продолжал Сорокин, – с сигнальщиком вышел на пятый форт, красные если пойдут, то как раз мимо, мы бы их засекли и подали сигнал на открытие огня...

– Да, – полковник посмотрел на часы, – тот сигнальщик должен скоро вернуться... Согласен! Есть другие предложения, господа офицеры? – Он оглядел присутствующих. – Нет? Тогда совещание окончено.

Сорокин оделся, натолкал в карманы револьверных патронов и вышел на платформу, там рядом с оружейной прислугой сидел второй сигнальщик.

– Как зовут? – обратился он к нему.

– Матрёнин! Старшина первой статьи монитора «Маньчжур» Сибирской речной флотилии Матрёнин, господин поручик!

– А по имени?

– Матвей! – ответил сигнальщик.

– Пойдёшь со мной, возьми фонарь, и... стрелять умеешь?

– Как не уметь, ваше благородие? *Когда* уж на берег сошли!.. – ответил Матрёнин и поднял с пола фонарь. – Пойдём далече?

– Далече! – ответил Сорокин.

– А можно покурить на дорожку, ваше благородие?

– Покури, – ответил Михаил Капитонович, снял с плеч сидор, присел, вытащил фляжку и подаренную Гвоздецким бутылку и перелил ром. – Кружка имеется? – спросил он Матрёнина.

– На что? – спросил Матрёнин.

– Налить... для бодрости.

– Дак это мы и ложкой схлебнём, – весело ответил моряк, и Сорокин, несмотря на темноту, увидел, что тот вытащил из-за голенища большую деревянную ложку. – Сюда, что ли, плесните, ваше благородие!

В темноте дорога до 5-го форта заняла намного больше времени. Когда Сорокин днём возвращался с форта на бронепоезд, он почти не обратил внимания на ручей и мокрую низину, которая пролежала между фортом и железной дорогой. Сейчас низина показалась ему широкой и в некоторых местах глубокой, так что несколько раз вода залилась в сапоги. «Вот сюда бы их конница пошла, здесь бы её и накрыть. Но, скорее всего, пойдут южнее, не может быть, чтобы у них не было проводников из местных, из партизан!» – подумал Сорокин.

* * *

Полтора года назад, 31 мая 1921 года, рота капитана Штина была посажена в эшелон и из Гродекова переведена сначала в Уссурийск-Никольский, а через неделю на разъезд Дроздов в трёх верстах севернее Спасска. Пока готовились к наступлению, Сорокин и Штин исходили эти места. Они охотились на коз и фазанов, особенно восточнее Спасска, ближе к тайге, и наблюдали, как японцы вокруг города Спасска и железнодорожной станции Евгеньевка построили семь фортов: когда красные выдавили японские войска из Забайкалья, те решили укрепиться в Приморье. В районе станции Свиягино, севернее Спасска, проходила договорная граница с красными, и Спасск с сопками вокруг него, зажатый между озером Ханка на западе и уссурийской тайгой на востоке, был очень удобным местом для создания укрепрайона. Здесь белые, поддержанные японскими войсками, решили создать ударный кулак для наступления на север. Михаил Капитонович, преследуемый мечтой оказаться в «броне», напомнил командованию о том, что он артиллерист, и перевёлся на бронепоезд.

30 ноября 1921 года войска генерала Молчанова, сосредоточив в районе станций Шмаковка и Уссури авангард в 2500 штыков и сабель, поддержанные бронепоездом «Волжанин», перешли в наступление на станцию Иман, а уже 11 декабря они вплотную подошли к бикинским позициям красных. С бронепоезда Сорокин много раз видел обглоданные и полурастащенные зверьём человеческие останки: трупы лежали вплотную к железнодорожному полотну. Потом выяснилось, что это была работа «жёлтого вагона» атамана Колмыкова – схваченные его контрразведкой красные: партизаны, лазутчики и те, кого подозревали в сношениях с ними. Вагон контрразведки называли «жёлтым», потому что он был выкрашен в цвет лампас уссурийского казачьего войска. На это было страшно смотреть.

12 декабря был взят Бикин. 15 декабря белые выбили красных из Дормидонтовки. 17-го белая конница с юга обошла хребет Хехцир. Воткинский и Ижевский пехотные полки, поддержанные Уральским казачьим при двух орудиях, в районе станицы Казакевича смяли заслон из 150 хабаровских коммунистов и заняли Невельскую. 19 декабря из Казакевича белые повернули на северо-запад и от Уссури пошли на Амур в сторону станции Волочаевка. 21 декабря началось наступление на Хабаровск, и 22-го он был взят. 27 декабря Поволжская бригада генерала Сахарова, в состав которой входила рота капитана Штина, заняла станцию

Волочаевка и 28-го начала наступление на запад, на станцию Ин, однако во встречном бою красные их остановили.

Фронт замер, и весь январь наступившего 1922 года и красные и белые готовились наступать.

31 января на станцию Ин прибыла красная Читинская стрелковая бригада. С её прибытием конная группа, действовавшая на амурском направлении, была расформирована: 4-й кавалерийский полк был передан Сводной бригаде, а из Читинской бригады и красного Троицкосавского кавалерийского полка была создана Забайкальская группа. В войсках Восточного фронта красной Народно-революционной армии перед контрнаступлением была собрана сила в 6300 штыков, 1300 сабель, 300 пулемётов, 30 орудий, 3 бронепоезда и 2 танка; и она превосходила белых почти в 2 раза: в саблях превосходство было незначительным, в пулемётах – почти пятикратное, а в орудиях – в 2,5 раза.

Генерал Молчанов, получив от разведки сведения о серьёзном укреплении красных, решил не упускать стратегической инициативы, потому что диспозиция белых была выгоднее. Станцию Волочаевка оплели четырьмя рядами колючей проволоки, крутобокую господствующую сопку Июнь-Корань, которая с севера нависала над станцией, на 30-градусном морозе облили водой и превратили в ледяную гору – неприступную крепость с траншеями, пулемётными гнёздами и артиллерией. Поддержанная бронепоездами, эта позиция была способна перемолоть красное наступление и истощить его; помощь японской армии гарантировала успех до самой Читы и Байкала. А там!!! О волочаевских укреплениях писали даже американские газеты: «Большевики на восток не пройдут. На подступах к Амуру создан дальневосточный Верден».

1 января 1922 года у белых было около 4550 штыков и сабель, 63 пулемёта, 12 орудий и 3 бронепоезда, а в ближайшем и глубоком тылу – около 3460 штыков и сабель, 22 пулемёта и 3 орудия.

5 февраля, утром, полк красной Читинской бригады начал наступление и выбил белых со станции Ольгохта. На рассвете 7 февраля белые: 700 штыков, 85 сабель при 8 пулемётах и 4 орудиях перешли в контратаку. Добровольческий полк и бронепоезд «Волжанин» продвинулись вдоль железной дороги вперёд, одновременно Молчанов выдвинул Камский и Егерский полки.

10 февраля в 11 часов 30 минут стали наступать части красной Сводной бригады. Танк красного Амурского полка прорвал два ряда проволочных заграждений, но был подбит огнём бронепоезда.

12 февраля в 8 часов утра в наступление пошла вся красная Сводная бригада. Красноармейцы рвали проволочные заграждения прикладами винтовок, сапёрными лопатками, ручными гранатами, подминали их под себя; роты приблизились к окопам капитана Штина и после непродолжительного боя ворвались. Однако их движение вперёд было задержано фланговым огнём белых бронепоездов, вставших на дороге вровень с боевыми порядками пехоты. Попад под огонь, красные принуждены были оставить захваченные окопы. Наступление других красных частей также было остановлено. Главной помехой для них были бронепоезда белых. Они стреляли и не давали пехоте подняться для броска вперёд.

Тогда красные выдвинули орудия и в упор обстреляли передовой бронепоезд, который курсировал под сопкой Июнь-Корань. На нём был Сорокин. Огонь артиллерии отвлек внимание, в это время сапёры красных быстро восстановили путь для своего бронепоезда № 8, и тот на всех парах двинулся вперёд. Под ураганным встречным огнём он вынудил к отступлению головной бронепоезд белых и, ворвавшись в расположение, открыл фланговый огонь по окопам на склонах сопки Июнь-Корань. Пехота красной Сводной бригады поднялась и пошла на штурм. Обходная колонна красного 6-го стрелкового полка и Троицкосавский кавалерийский полк тут же перешли в наступление. Выйдя восточнее Волочаевки на железную

дорогу, красные подожгли мост в шести километрах восточнее станции, и это вынудило бронепоезда белых оставить позиции и попятиться на восток. Пехота красной Сводной бригады усилила натиск и ворвалась в волочаевские укрепления.

Молчанов стал отходить: 14 февраля он сдал Хабаровск; 28 февраля – Бикин. 18 марта белые ушли со станции Муравьёво-Амурская, остановились, и наступило хрупкое затишье.

Граница между белыми и красными вернулась туда же, где она была полтора года назад. Обе стороны снова начали накапливать силы, а 7 октября 1922 года красные решились.

Земля под ногами стала суше, приближался шум боя на 3-м форте, и Сорокин уже знал, что до форта № 5 осталось немного. Они с Матрёниным вышли на пригорок и присели. – Посигналь на коробку! – попросил Сорокин Матрёнина.

Тот повернулся и коротко постучал механизмом внутри фонаря.

– Горит свеча-то? – спросил Михаил Капитонович.

– Горит, куда ей деваться!

Несколько минут они сидели в темноте.

– Ну что?

– Пока тихо, видать, ещё не дошёл... – Ладно, давай вперёд!

– А скока ишо, ваше благородие?

– Саженой двести.

– Тада пойдём, придём, я ещё постучу!

Через пятнадцать минут они подошли к тыловой траншее, Сорокин обменялся паролем с часовыми и спросил, где командир роты капитан Штин.

– Штык-та? – переспросил часовой и махнул рукой в сторону каземата.

Штина он нашёл в передовой траншее у северного склона земляной насыпи каземата.

– Да, – сказал Штин, когда Сорокин спрыгнул на дно окопа рядом с ним. – Пока у нас тихо, а вот на третьем... Слышите? Я послал туда князя со взводом... Если что, он пришлёт вестового.

– А Вяземский?

– На юго-востоке с охранением, напротив Дубовской.

– На случай, если конница?..

– Да!

В этот момент в траншею соскочили сразу двое: сигнальщик Матрёнин и вестовой от князя.

– Ваше благородие! – Матрёнин оказался проворнее. – С коробки просигналили, что всё, как вы...

– Как мы планировали, – договорил за него Сорокин. – Хорошо, наблюдай дальше.

Вестовой от Суламанидзе доложил, что красные заняли 3-й форт, но «наши, когда я уходил к вам, готовили контратаку».

– Помощи не просили?

– Никак нет, господин капитан, только сказали, что, если будут отходить, чтобы вы помогли с фланга!

– Хорошо, возвращайтесь.

Сорокин и Штин присели на дно окопа и закурили.

– А вестовой, обратили внимание? Мальчишка совсем, из гимназистов, что ли? По фамилии, не угадаете... Романов!

Тихо! – оборвал себя Штин. – Слышите? Пошли!

3-й форт находился от 5-го в полутора верстах, и было хорошо слышно, как там снова началась сильная пальба.

– Вот и сиди здесь! Чувствую себя как князь Игорь за ноги на двух берёзах... Сейчас бы навалиться туда, и третий снова был бы наш, а тут стереги правый фланг, как бы их кавалерию не пропустить! А что ваш бронепоезд?

Сорокин объяснил Штину план, и в этот момент на них свалился Вяземский. Он только кивнул Сорокину и доложил, что передовые посты сообщили о движении в районе Дубовской.

– Возьмите взвод, пулемёт, соберите все гранаты, как только мы услышим от вас стрельбу, выдвинемся к вам. С Богом, Гоша! Михаил Капитонович, – Штин обратился к Сорокину, – не осталось ли у вас что-нибудь в вашей волшебной фляжечке?

Сорокин покопался в сидоре и вытащил фляжку.

– Ничего, если из горлышка? В окопах не до манер!

Сорокин кивнул.

Штин выпил несколько глотков, сморщился и сиплым голосом произнёс:

– Забыл... ведь это же Гвоздецкого напиток?

Сорокин тихо рассмеялся и опять кивнул.

– Ладно, Бог простит, в конце концов, не он же этот ром делал.

В этот момент они одновременно слышали сдержанный гул и с той стороны, куда уполз Вяземский, дал очередь пулемёт.

– Пойду, – сказал Штин. – Теперь третьему форту мы вряд ли чем поможем. А вы бегите к вашему сигнальщику.

Сорокин и Штин выскочили из окопа. Михаил Капитонович взобрался на каземат, дал команду сигнальщику и, насколько позволяла темнота, быстро побежал к окопам Вяземского, откуда гремели винтовочные выстрелы и пулемётная стрельба. Он не заметил под ногами окопа и упал в него. Окоп был пуст, а стрельба велась спереди. Он вылез из окопа и побежал к тому месту, откуда стрелял пулемет. Когда он подбежал, Вяземский перестал стрелять.

– Они спешили и, наверное, уже ползут сюда, – тихо, не глядя на Сорокина, произнёс Вяземский. – У вас гранаты есть?

– Нет, – ответил Сорокин.

– Вот, – Вяземский положил на бруствер четыре гранаты, – японской системы... умеете?

Сорокин кивнул.

– А где капитан?

– Вот он я! – И внезапно появившийся из темноты Штин тронул Сорокина за плечо. – Гоша, снимайтесь отсюда, они вас точно засекли и сейчас закидают гранатами. Впереди левее в пятидесяти саженях есть старый окоп, давайте с поручиком туда, и, как только услышите взрывы здесь, бейте с упреждением назад на длину броска... – А вы?

– А я домотаю колючку поперёк низины и с расчётом встану у них на фланге.

Сорокин вылез из окопа и за Вяземским и его заряжающим пополз в темноту. Они не успели отползти далеко и ещё не достигли старого окопа, о котором говорил Штин, как вдруг у себя за спиной услышали грохот взрывов, а спереди, совсем близко, во весь рост встали несколько фигур и, стреляя на ходу в сторону взрывов, побежали туда.

– Вовремя! – процедил Вяземский и окатил их длинной очередью.

Сорокин, Вяземский и заряжающий оказались на ровном месте, спрятаться было негде. Пулемётная очередь их выдала, и в то место, где они залегли, сразу были брошены несколько гранат. Когда прогремели взрывы, Сорокин поднял голову и понял, что заряжающий убит. Вяземский заправлял ленту, и тут на них стали набегать фигуры. Сорокин и Вяземский бросили по гранате и поднялись. Ближайшего Сорокин застрелил из винтовки, следующего сбил ударом приклада, как веслом, и почувствовал, что справа от него что-то происходит.

Он прыгнул туда на несколько шагов и увидел, что на земле с кем-то борется Вяземский. Сорокин подбежал и выстрелил тому, кто боролся с Вяземским, в упор между лопатками. В это время застучал пулемёт справа, оттуда, где должен был находиться Штин, и несколько очередей прозвучали от каземата. Вяземский поднялся, они больше никого не увидели и вернулись к пулемёту. Рядом сидел заряжающий и обеими руками держался за голову.

– Жив? – спросил его Вяземский.

Они ухватились за раму пулемёта и покатали его к окопу, о котором говорил Штин. В это время повсюду загрохотал пулемёт капитана.

– Михаил Капитонович, что мы тут делаем, один хрен ни зги не видно, пока мы не начали стрелять. Можете вернуться в передовой окоп и направить сюда всех, кто есть?

– Конечно! – ответил Сорокин и побежал к окопам форта.

Он направил к Вяземскому взвод и снова услышал стрельбу Штина. «Только бы найти его, только бы не сбиться!» Но сбиться оказалось невозможно: Штин стрелял длинными очередями, и были видны вспышки его пулемёта. Сорокин побежал. Через несколько минут он спрыгнул в хорошо оборудованный окоп полного профиля. «Молодцы, косоглазые!» – подумал он о построивших Спасский укрепрайон японцах.

Когда он добрался до Штина, тот перестал стрелять. Секундой позже перестали стрелять Вяземский и пулемёты каземата.

– Тихо, – констатировал Штин и тут же, призывающе, поднял палец вверх. – Тихо!

Сорокин прислушался. От Дубовской доносился шум.

– Взяли коней в поводя и решили пройти мимо нас на максимальной дистанции. Всё, больше мы тут не нужны, – сказал Штин. – Вы, Миша, пока мы тут будем собираться, бегите на форт и просигнальте своим.

Через несколько минут Сорокин уже был на земляном настиле каземата.

– Так я всё слышал, – увидев его, доложил Матрёнин, – и уже просигналил.

Как только он это сказал, от железной дороги, оттуда, где должен был стоять бронепоезд, раздались несколько пушечных выстрелов, среди них Сорокин услышал свою пушку. «Мы тоже молодцы!» – невольно подумал он про себя и про своих.

Через несколько минут на каземат поднялись Штин и Вяземский.

– Ну что, господа, с задачей справа мы справились, теперь надо ждать, что слева! Какие потери, Гоша?

– Один контуженный, мой заряжающий, больше вроде нет!

– Хорошо, господа, давайте спустимся в каземат, надо чего-нибудь перекусить, если только Одинцов там не умер от скуки. Я ведь, – Штин обратился к Сорокину, – в бой его больше не беру, пусть нам служит, а мы повоюем! Так? А, Георгий!

В каземате на столе светили четыре маленьких свечных огарка и на деревянном подносе была разложена еда. Одинцов спал в углу на расстеленной шинели.

– А? Шельмец! Одинцов! – закричал Штин.

Одинцов как пружина в один момент оказался на ногах.

– Победили? – С горящими глазами он бросился к капитану.

– Давай, что у тебя там! – гаркнул на него Штин, и Одинцов из темноты угла вынес четверть.

Сорокин снова увидел, что Штин хромает заметнее, чем вчера. Штин перехватил его взгляд.

– Ну что, господа, победа не победа, а всё – живы! Вот только дожждаться князя!

Когда все выпили и закусили: «А это напрасно, господа, впереди ещё бой, – прокомментировал Штин. – Но больно жрать хочется!» – он обратился к Сорокину:

– Видите ли, Михаил Капитонович, на Волочаевской сопке, или как её там – Июнь-Корань – почему не Август? Мы поливали её водой на тридцатиградусном морозе. Я не

заметил, что у меня намок валенок, и пошёл отогреваться у печки, а он, нагретый, насквозь пропитался, а я проморгал. А тут – стрельба, ну я и выскочил! И понятное дело, отморозил, правда только мизинец. Вон, – Штин кивнул на Одинцова, – на все руки мастер! Он мне его и отчекрыжил, так потом даже доктора удивлялись. Потому и хромаю!

Не успел он договорить, как в бункер ввалился тот самый вестовой с 3-го форта Романов, поддерживаемый двумя солдатами, один из них держал в руках его палку.

– Ваше благородие, господин капитан! Вот, насилу доволокли!

Все оглянулись к вошедшим, и у всех по коже пробежал мороз: у вестового была оторвана левая ступня, но на ноге ещё сидело голенище, прибинтованное снизу и прихваченное поперёк икры брючным ремнем.

– Господи, как вас угораздило? – Штин вскочил с табурета и подхватил вестового.

– Слушайте... – сухими губами прошептал вестовой. – Наши отходят на военный городок, просили поддержать. – И вестовой обмяк и уронил голову.

– Одинцов, быстро его в угол на шинель, посмотри, что у него! Есть бинты?

Все подскочили и подхватили обвисшее тело вестового.

– Так. – Штин стоял с зажатой под мышкой папашой и чесал в затылке. – Здесь мы, кажется, отвоевались. На сборы три минуты. Замки забить, панорамы снять. Гоша, стройте людей, и выдвигаемся. Михаил Капитонович, вы как?

– Я с вами, – ответил Сорокин, места для сомнений не было.

Штин посмотрел на него с благодарностью.

– Ответственность за оставление форта беру на себя. Вяземский, командуйте отходом!

Через несколько минут вся рота с приданными ей артиллерийской и пулемётной командами собралась на западном склоне насыпи каземата.

– Михаил Капитонович, пусть ваш сигнальщик просемафорит на бронепоезд о нашем продвижении, а то ещё шарахнут!

Он шёл впереди, Сорокин – рядом, Вяземский с двумя пулемётами прикрывал правый фланг. Они двигались точно на север, в надежде перехватить отходящий гарнизон 3-го форта и встать у него в арьергарде. Остановить продвижение красных они даже не думали, потому что на ровном заболоченном месте в квадрате Спасск – форт № 3 – форт № 5 – Спасск (военный городок) зацепиться было не за что.

Штин споткнулся и выругался.

– Вы что-нибудь видите? – спросил он.

– Только ногами и по памяти, – ответил Сорокин.

Было темно, и сильно дул низовой северный ветер. Плотные облака с разрывами несло на восток, и между ними коротко, но ослепляюще ярко высвечивала луна: глаза слепли, когда луна появлялась, и снова слепли, когда она исчезала. – Можно ориентироваться только по звуку. – Сорокин тоже оступился, он попал ногой в яму и ухватился за рукав Штина.

– Осторожно, Михаил Капитонович, не хватает нам ещё ноги покалечить! Мы же слышим, что бой идёт на севере и справа, на востоке?..

– Да, в принципе этого достаточно!

Вдруг впереди, близко, они увидели две короткие вспышки.

– Охранение! – сказал Штин. – Днём выставил. Чёрт, просил же спички беречь! Видимо, они встретились с их первыми... идёмте туда!

«А как же беречь? – подумалось Сорокину. – Заказал две вспышки, значит – две спички!» Он хмыкнул.

Действительно, они прошли шагов двадцать, и им навстречу встал человек.

– Оржельский? – спросил Штин.

– Я, господин капитан!

– Можно не опасаться, – шёпотом сказал Штин, – я его по голосу хорошо знаю, вместо пароля.

В эту минуту с правого фланга дал длинную очередь пулемёт.

– Вяземский! – сказал Штин. – Что, Оржельский, докладываете?

Прапорщик Оржельский доложил, что его охранение встретило передовой отряд с 3-го форта, что их около 30 человек: все раненые и контуженные.

– Сколько до военного городка? – спросил Штин.

– Около версты, мы ходили туда ещё в сумерках, – ответил прапорщик.

– Давай с ними туда, только в казармы не входите, расположитесь ближе к железной дороге, понятно?

– Так точно, господин капитан!

– Ну вот что, Миша! – Штин сел спиной на восток, поднял воротник шинели и закурил в кулак. – Давайте вашу фляжку и слушайте меня!

– Господин капитан! – неожиданно из темноты послышался особенный голос Оржельского.

– А?! Голос каков?! – не торопясь откликнуться, сказал Штин. – Мариинка! В полном составе! Ла Скала! Что вам, Оржельский?

– Тута вас разыскивает поручик Су...

– Гаспадин, капитан! – Это был голос Суламанидзе.

Штин и Сорокин радостно глянули друг на друга.

– Помогите ему! – Штин улыбался, в темноте Сорокин этого не видел, но он знал, что Штин сейчас широко улыбается.

Сорокин пошёл на голос.

– Забирайте меня! И Вяземского, он бэз сознания.

Четыре человека из команды Оржельского растянули шинель, перекатали на неё Вяземского и скорым шагом, болтая его свисшими ногами, пошли в сторону железной дороги.

– Что с ним? – спросил Штин.

– Нэ знаю, – ответил Суламанидзе. – Я когда подполз, он увидэл меня и... всё! А сердце бьётся и дышит! А сам... чёрт его знает!

– Ладно, господа, Бог не выдаст – свинья не съест! Князь, вы туда?

– Да, буду прикрывать, у меня четыре пулэмёта...

– То есть вы?.. – Штин махнул рукой на восток в сторону 3-го форта.

– Да, туда!

– Хорошо! Тогда так, князь: засекайте время, через час мы будем на южной окраине военного городка, я с северной стороны дам несколько длинных очередей, они их засекут и начнут стрелять туда. Миша, а вы дадите сигнал на бронепоезд, чтобы подходил! Вы же, князь, как только я дам длинную очередь, снимайтесь и выходите на железную дорогу южнее городка! Ге и ге?

Суламанидзе услышал это, зажал левой рукой рот, и Сорокин увидел, как у него поднялась правая рука так, как это делают, когда хотят по-дружески хлопнуть собеседника по плечу, но он только, давась смехом, хрюкнул, комично козырнул, произнёс что-то вроде «Карги, батоно!..» и исчез в темноте.

– Что вы ему сказали?

– Я его спросил: он понял? Больше ничего!

Они оба помолчали и, уже ни о чём не говоря, пошли к военному городку на южной окраине Спасска.

Бронепоезд с защитниками 3, 5 и 7-го фортот и другими прибавшимися к ним белыми удалялся от Спасска, стреляя из всех орудий на север, северо-восток и юг. Он набирал скорость, чтобы красные, которые за несколько минут до этого сломили сопротивление высаженного в балке десанта, не разобрали рельс и не поймали его в ловушку.

Штин, как только влез в броневаян, выпил из фляжки Сорокина, лёг на пол и заснул. Вяземскому врач дал понюхать нашатырю, тот вздрогнул и открыл глаза. Суламанидзе вместе с денщиком Одинцовым, перемалывая железными, обросшими чёрной щетиной челюстями, догрызал печёных фазанов и пил из четверти.

Сорокин ушёл в угол и открыл свой заплечный мешок. Он стал приводить в порядок вещи, ему попалась пожелтевшая листовка, напечатанная на дешёвой, рыхлой бумаге: это была присяга Верховного правителя Приамурья генерала Дитерихса от 21 июля 1922 года. Сорокин вздохнул, расправил её на колене и стал читать: «Обещаюсь и клянусь всемогущим Богом пред Святым Его Евангелием и Животворящим Крестом Господним в том, что принимаемое мною по воле и избранию Приамурского Земского Собора возглавление на правах Верховной власти Приамурского Государственного Образования со званием Правителя – приемлю и сим возлагаю на себя на время смуты и нестроения народного с единою мыслию о благе и пользе всего населения Приамурского Края и сохранения его как достоинства Российской Державы. Отнюдь не преследуя никаких личных выгод, я обязуюсь свято выполнять пожелание Земского Собора, им высказанное, и приложить по совести всю силу разума моего и самую жизнь мою на высокое и ответственное служение Родине нашей – России, блюдя законы ея и следуя её историческим исконным заветам, возвещённым Земским Собором, памятуя, что я во всем том, что учиню по долгу Правителя, должен буду дать ответ перед Русским Царём и Русскою Землёю. Во удостоверение сей моей клятвы я перед алтарем Божиим и в присутствии Земского Собора целую Слова и Крест Спасителя моего. Аминь».

Михаил Капитонович дочитал, на душе у него было тускло: несколько месяцев назад, когда эта листовка попала к нему в руки, он впервые за много лет, несмотря на неудачи последнего времени, почувствовал радость, но не оттого, что он жив и сыт, а оттого, что появилась надежда, что он всё-таки когда-нибудь дойдёт до родного Омска, что вот-вот начнёт двигаться в его направлении. Когда Молчанов взял Хабаровск и собрал штаб, было решено, что дальше движение будет только на Москву. Михаилу Капитоновичу не очень хотелось в Москву, он уже в ней был два раза, в первый раз, когда в семнадцатом году ехал на Западный фронт воевать с германцем, и второй, в декабре того же семнадцатого, когда еле проскочил через неё обратно в Омск. Теперь стало ясно, что Омска не будет. Он покрутил листовку, думая, что с ней делать: бросить или сложить, и в этот момент его внимание привлекло движение. Он поднял глаза и увидел, что в вагоне что-то ищет человек: он наклоняется к спящим, поворачивает их за плечи и заглядывает в лица. Кроме Сорокина в вагоне спали все, несмотря на грохот осколков и пуль, попадавших с внешней стороны в стенку вагона и стрельбу собственных пушек и пулемётов. Он спросил:

– Кого вы ищете?

– Капитана Штина, – разгибаясь, ответил человек.

– Что у вас к нему?

– Вот, – сказал человек и показал конверт.

– Давайте, я его заместитель, – соврал Сорокин и протянул руку.

– Надо расписаться, – неожиданно сказал человек. Он говорил тихим голосом, но Сорокин на удивление хорошо его слышал.

– А вы откуда?

– Я из контрразведки, от капитана Гвоздецкого!

– Откуда? – Сорокин не поверил своим ушам.

Человек повторил.

– Давайте я распишусь. Где?

– Вот здесь, – ответил человек и протянул раскрытую большую амбарную книгу и послунывил химический карандаш.

Сорокин расписался.

– Только приказ – господину капитану Штину отдать в собственные руки, – сказал человек.

– Будет исполнено, господин...

– Иванов моя фамилия – делопроизводитель отдела контрразведки Поволжской группы Иванов.

Через три недели грязные, голодные и оборванные Сорокин, Штин, Суламанидзе и висевший у него и Одинцова на плечах прапорщик Вяземский стояли у калитки собственного дома подполковника Румянцева на улице Садовой, 12, угол Пекинской.

Фуцзядянь

Михаил Капитонович водил глазами. Вплотную перед ним у самого носа плавала оклеенная бумагой с большими круглыми сальными пятнами стена: в этих сальных пятнах бумага казалась прозрачной, казалось, что придави её посильнее пальцем – и проявится то, на что она наклеена. Но Михаил Капитонович знал, что бумага не наклеена. Он знал, что она натянута и под ней шершавая и серая глиняная стена или кирпичная: и если бумагу придавить пальцем, то проявятся – если глиняная – чёрные точки, как будто бы её с той стороны засидели мухи, или же коричневый кирпич: тёмно-коричневый, почти чёрный – как запёкшаяся кровь. Заснуть или забыться он уже не мог, потому что действие опиума кончилось. Сейчас придёт старик.

– Фставай, бай э! – услышал Михаил Капитонович.

– Пошёл вон, старый чёрт!

– Фставай, та мади! Или исё цянги плати, моя другой трупка неси! – Коричневая тень старика накрыла тень от головы Михаила Капитоновича и сальные пятна.

«Исё трупка, – подумал Михаил Капитонович. – Исё трупка, шангó, еси! Однака дзенги – сё!»

– Дзенги – нету! Всё! – Он поводил глазами, чтобы снова найти тень, старик ему мешал.

– Фставай! Дурака еси! Полицза ходи!

«Полиция – сафсем не шангó!..» Сорокин не успел додумать эту мысль, как почувствовал дуновение воздуха в затхлом помещении и снова услышал старика:

– Моя твоя говоли, полицза!

После этого раздался громкий топот каблуков по деревянному полу, кто-то подошёл со спины и грубыми пальцами ухватился плечо.

– Этот?

– Да! – услышал Сорокин, и голос показался ему знакомым.

Сегодня Михаил Капитонович очень хорошо выкурил вторую трубку, а неделю назад первую. Первая ему не понравилась, сильно разболелась голова, как будто раскололась, и он несколько дней отпивался ханой. А сегодня было хорошо. После нескольких затяжек, как его научили, он стал чистый, лёгкий и сытый и увидел всех, кого любил: на открытой зелёной поляне, на берегу большой, уходящей вдаль без края воды. Он не мог никого узнать и от этого мучился, но мучился тоже легко, потому что знал, что все, кто рядом с ним, любят его. Он знал, что рядом мама и брат, а отец вот-вот придёт; где-то тут же была леди Энн, она в шутку ссорилась с Штином, их он тоже не узнавал, но он знал, что это они. Они появлялись и исчезали, они все были весёлые, лёгкие, чистые и сытые, и он вместе с ними смеялся, то приближаясь, то отдаляясь...

– Забирайте! – Он снова услышал голос, тот, что показался ему знакомым, и услышал, как этот голос стал громко топтать из помещения. – Только его! Остальные пусть сдохнут в этом гадючнике к чёртовой матери! Позор! И налейте ему... потом разберёмся!

Грубые пальцы потянули, френч под ними затрещал, подняли и крутанули так, что Сорокин оказался сидящим на низком кане с задранными до подбородка коленями. К его лицу вплотную приблизилось тёмное лицо, не разобрать, где лицо, а где борода, и от лица дохнуло перегаром: смесью водки и чеснока.

– На-ка, братец! – сказала лицо и поднесло вплотную к его губам глиняную чашку, из которой пахло чистым спиртным. – Благодари Бога за господина капитана, что они к тебе – так! Пей!

Но пить не хотелось, и он отворотился, тогда лицо ещё приблизилось, а пальцы ухватили за волосы на затылке, потащили вниз, запрокидывая голову, и стали в сомкнутые губы лить спиртное.

– Пей, с-сука, не то через задницу волюю! Спринцовка есть? – обращаясь куда-то в сторону, сказала лицо.

Михаил Капитонович безвольно повёл головой, освобождаясь от пальцев, взял чашку и, ничего не чувствуя, выпил. Как только он сделал последний глоток, много пальцев схватились за всю его одежду и подняли.

Михаил Капитонович очнулся и обнаружил себя плотно сидящим на стуле с привязанными за спинку стула руками и ногами, привязанными к ножкам стула.

– Пришли в себя, Миша? – Это сказал человек, которого он не мог разобрать, но голос которого был ему знаком. Человек сидел напротив, за большим канцелярским столом, у него за спиной ярко сияло засвеченное солнцем окно, и человек на его фоне казался чёрным и был неразличим. – Я вас отучу от этого проклятого зелья, я вам не Штин! Дайте ему ещё!

Справа и слева от Михаила Капитоновича стояли близко две фигуры: слева худая, справа широкая и, насколько Михаил Капитонович успел разглядеть, бородатая. Широкая фигура, что была справа, шагнула к нему и раскрытой ладонью ударила его по щеке. Михаил Капитонович знал, что от такого удара ладонью плашмя его кожа на щеке должна была лопнуть или сгореть, но он ничего не почувствовал, только мотнулась голова с тянущей в шее болью.

– Да нет! – крикнул человек за столом из-под сияющего солнца. – Дайте ему водки, полный стакан, и на прорубь!

К Михаилу Капитоновичу шагнула худая фигура слева и протиснула между губами горлышко бутылки.

– Пейте, Михаил Капитонович, пожалейте себя.

После нескольких вынужденных глотков Михаил Капитонович почувствовал в желудке тепло...

Его обожгло. Обожгло так, что он закричал и вздохнул, но что-то каменное вдавилось ему в горло, и он выкатил глаза. Вокруг была серая стеклянная муть, и только вверху был светлый круг. Его потащило вверх, и он вздохнул. Наверху был воздух, и он был лёгкий.

– Хватит, не то задохнется!

Михаила Капитоновича положили на лёд, и его мокрое исподнее сразу примёрзло. Его стали с треском отдирать, отодрали и его бросили в сено на телеге; сверху накинули с головой громадный тулуп, под которым он сразу почувствовал, что задыхается; тогда он рукой, несвязанной – он удивился, – отогнул полу тулупа и глянул на небо. В этот момент его голову подняли, нахлобучили на неё шапку и поднесли к губам горлышко бутылки, из которой пахло чистым спиртным.

– Пейте, ваша благородия, пейте, хорош уже... и сами помучались, и нас намучили – третий раз вас кунать... на улице такой морозище!.. Издохните!.. Прости господи!..

Михаил Капитонович смотрел на говорящего – это снова было лицо наполовину в бороде и с перегаром.

– Ща мы вам и закуски спроворим, – сказала лицо, и Михаил Капитонович почувствовал, что в его губы тыкают солёным огурцом. Он сначала пощупал огурец губами и надкусил, по щеке к шее потекла струйка, он почувствовал голод, перехватил огурец рукой и стал грызть. Он перестал видеть что-то вокруг, хотя и до этого почти ничего не видел, выпростал из-под тулупа обе руки, не чувствуя холода и обледенелости белья, и жрал огурец.

– Оголодали! – тихо сказала борода, Михаил Капитонович не видел его, но знал, что это сказала борода, как он его запомнил. – А хлебушка не хотите, ваше благородие?

– Только немножко, чтобы заворота кишок не было, – сказала другое лицо.

Михаилу Капитоновичу показалось, что он уже слышал и этот голос, он силился вспомнить где и когда, но не смог, и его отвлек ломаный кусок хлеба, который оказался в руке и от которого так сильно пахло, что он перестал о чём-то думать.

Телегу трясло, и, пока он справлялся с хлебом, к которому добавилась ещё и колбаса и ещё один огурец, она остановилась. Он проглотил последний кусок, плохо поддававшийся, и он его возвращал, жевал и снова глотал, и в этот момент перед ним снова появилась борода.

– Эка вас!.. – сказала борода, подхватила Михаила Капитоновича, прямо с дохой подняла с телеги и вставила в большие валенки. Михаил Капитонович пошевелил пальцами босых ног – валенки внутри были колючие.

В той же комнате, где его совсем недавно били, за тем же столом сидел капитан Гвоздецкий Николай Николаевич.

– Ну что, Миша, не замучили вас? – спросил он и задумчиво уставился на Сорокина. – Есть хотите? Хотя нет! Яшка! – обратился он за спину Михаила Капитоновича. – Переодень его, сейчас его белье растает, и тут будет лужа! А я пока схожу доложу!

Гвоздецкий вышел, Михаил Капитонович стоял, он стоял около того стула, на котором недавно сидел привязанный. На сиденье стула плюхнулась сложенная белая пара белья, сверху упала рубаха, а на неё солдатские шаровары со свисающими помочами. Всё было свежее и не его.

– Переодевайтесь! – это сказала борода по имени Яшка.

Сорокин остался в комнате один. Он стянул с себя всё, что на нём было, надел бельё, рубаху и шаровары, поправил на плечах помочи и даже хлёстко щёлкнул ими, только вот не было сапог, и он стоял на полу босой, но пол был деревянный и тёплый. Он огляделся, кругом всё было хорошо, чисто и сухо, он сам был чист и сух, и он вспомнил последнюю трубку, которую выкурил. Он вспомнил то ощущение чистоты и лёгкости, которое испытывал, когда видел своих дорогих людей.

Он остался доволен тем, что сейчас видел вокруг и ощущал на себе; сыто отрыгнул огурцом, колбасой и хлебом, подумал, что неплохо было бы сейчас съесть что-то ещё, и сел.

– Ну вот, Миша! – сказал вошедший Гвоздецкий и, не глядя на Сорокина, начал раскладывать на столе бумаги. – Теперь с вами, наверное, уже можно разговаривать.

Через густую листву придорожных кустов Сорокин смотрел на песчаную дорогу, которая направо и налево расходилась перед его глазами. Он разглядывал свежие следы копыт, оставленных конным отрядом, судя по всему недавно прошедшим. Следы были с острыми краями и полны дождевой водой, и сам дорожный песок был напитан водой лившего всю ночь дождя.

Вчера он пристроился на ночлег недалеко от этой дороги. После многих суток ходьбы по тайге он решил отдохнуть, чтобы сегодня была свежая голова. Вчера, ещё в вечерних сумерках, он нарезал лапника, веток, навязал пучками прошлогоднюю траву и построил сухой добротный шалаш. Предыдущие ночи он почти не спал: когда сильно уставал, находил какую-нибудь яму, накладывал в неё лапник, лапником укрывался и спал столько, сколько выдерживали такую постель его бока. Ямы были сырые или с талой от недавно сошедшего снега водой, но это было хорошо, потому что, не тратя много времени на сон, за относительно короткий промежуток времени он прошёл большое расстояние – во Владивосток и обратно, там встретился с нужным человеком и уже почти вернулся к границе. Вчера перед сном он доел галеты и вяленое мясо и допил спирт. Спирта оставалось много: чтобы заснуть, ему хватило бы и пары глотков, но он выпил всё с мыслью, что, мол, «если схватят, пусть

пристрелят в бессознательном состоянии, пока сплю». Мысль была шальная и неумная: если бы схватили, то или разбудили бы, или дождались, пока проснётся. Но – выпил и выпил! Теперь надо было решать, как перейти мокрую песчаную дорогу, чтобы не оставить на ней следов. Китайская граница была от этой дороги в трёх верстах впереди, но надо было пересечь дорогу, а в десяти верстах слева и в полутора справа были советские пограничные заставы. Единственный способ не оставить следов – это надо было найти такой участок, где лужи стояли бы поперёк дороги – несколько подряд, тогда можно было бы прыгнуть сначала в одну, потом в другую и так до противоположной обочины; но, сколько он видел и вправо и влево, на дорожном песке были только наезженные тележные колеи, они были заполнены водой, и песок между ними был изрыт копытами, и в них тоже была вода, а откосы дороги были ровные, как выглаженные.

Михаил Капитонович смотрел на следы конских копыт, их было много. Значит, пока он спал, мимо него прошёл большой отряд, не меньше тридцати всадников. Ему не было дела до того, что это был за отряд; он всматривался в следы, надеясь найти такую их конфигурацию, чтобы перейти на противоположную обочину. Но все следы были внутри колеи, и выходило так, что это сложно. Он не мог допустить ошибки – в этой пустынной местности, где все населённые пункты остались за спиной на востоке, а ему надо было в глухую тайгу на запад к китайской границе, он не мог наследить на этой, мат-ть её в дышло, дороге.

Перед тем как переходить границу, они с Гвоздецким наблюдали за местностью почти неделю. Советские пограничники несли службу изрядно. Сама граница проходила по дикой тайге и значилась только на карте, а в тылу всё было настроено, как хорошие часы. От пограничных агентов было известно, что основная работа у пограничников происходит как раз на таких дорогах, где-то они их даже расширили и вновь насыпали песком, чтобы нельзя было преодолеть одним или двумя прыжками.

Гвоздецкий советовался с местным стариком китайцем, который сказал, что начавшийся дождь будет лить долго. Пока он лил, Сорокин прошёл тайгу от границы и пересёк такую же дорогу, а скорее всего, эту же, только южнее. Теперь надо было сделать то же самое, только в обратную сторону, но спасительного дождя уже не было.

Он стоял, задумчиво смотрел на мокрый, предательский песок и мучился, что не может через пятнадцать минут оказаться далеко на той стороне и закурить, а очень хотелось. Он смотрел на дорогу, и в его сознании всплыли слова, которые он даже не мог вспомнить, откуда они всплыли: «Вот уже кончается дорога...»

«Ага, – «кончается»! – с ухмылкой подумал он. – Как же?! Вот же она, не кончается!.. Даже вовсе!»

Жёлто-серый песок лежал перед ним мягким подъёмом от травы до колеи и был шире его шага и прыжка, а кроме того, он сам стоял ниже гребня дороги, и ему пришлось бы прыгать снизу вверх. «Кончается!..» – снова подумал он, посмотрел направо и похолодел: он услышал приглушённые шаги и сразу увидел, что из тумана, накрывшего кроны деревьев и низко нависшего над дорогой, выезжают конные фигуры. Он не заметил, что, думая о том, как преодолеть дорогу, он почти вышел из зарослей. Он быстро присел, стал пятиться, за что-то зацепился, упал на спину, перевернулся и затих, только надвинул на самые глаза лохматую бурую шапку.

Дорога перед ним была метрах в трёх. По ней медленным шагом, на уставших лошадях, ехали казаки: «Кентавры!» Это слово вспыхнуло у него в голове, как воспоминание о когда-то, уже давно, виденном. Казаки ехали медленно, один за другим. Через коня второго казака было переброшено человеческое тело головой в ту сторону, где был Сорокин. Оно висело в белой рубашке, со связанными руками, безвольно болтавшимися в такт конскому шагу. Казаки были разнообразно одеты, кто в гимнастёрках, кто в простых крестьянских косоворотках, кожухах и овчинных безрукавках, но по посадке, по сёдлам, бородам и папа-

хам, Сорокин понял, что он не ошибся – это были казаки. «Уссурийские!» – ещё понял он, потому что на нескольких были шаровары с жёлтыми лампасами. Отряд «кентавров», человек тридцать – здесь Сорокин снова не ошибся, – тянулся мимо него минут десять. Казаки, кроме нескольких первых, спали в сёдлах, некоторые из них, судя по тому, как они пошатывались, крепко выпили.

После того как они прошли, Сорокин лежал в траве ещё минут двадцать.

Дорога была свободна, и слева только-только слышалось удаляющееся шлёпанье по мокрому песку конских копыт. Пока казаки ехали мимо него, он понял, что они возвращаются с ближней заставы. И ему было понятно, что они там делали. Свидетельством было тело, скорее всего красного пограничного командира, переброшенное через коня, и запах дыма, приплывший сюда на конских хвостах. Ещё бы узнать, который час.

От того места, где он сейчас находился, до границы осталось несколько вёрст, и он может пройти их до наступления темноты. Это и была задача, надо только убедиться, что нет никаких догоняющих отряд отставших казаков, но для этого надо было или сидеть и ждать неизвестно сколько, или идти им навстречу. Сорокин повернул направо и пошёл по тайге вдоль дороги.

Неделю назад он был во Владивостоке. Он пришёл 30 апреля утром, заходил с востока через тесно застроенные слободками пригороды, и сразу попал на самый конец Светланской. По расчётам ему надо было попасть в город 1 мая, в самый разгар народных гуляний, как объяснил Гвоздецкий, но он пришёл на сутки раньше, это было опасно, но он рискнул, потому что очень не хотелось ночевать в тайге, когда город был уже вот он. Переночевал в шанхае, через стенку от опиекурильни, но даже не потянуло. Утром он вышел на Светланскую недалеко от железнодорожного вокзала и порта и сразу оказался в толпе людей, которые стояли на тротуарах и шумели вместе с кричащими с флагами и флажками – все красные – и портретами вождей другими людьми, идущими демонстрацией. Он смотрел на колышущуюся демонстрацию и не понимал, чему эти десятки тысяч людей радуются. Повизгивали гармошки, дудели трубы многочисленных оркестриков, трещали переборами гитары. Между колоннами трудящихся, шедших с интервалами, отплясывали пьяненькие рабочие и летали с распростёртыми руками и цветными платочками в них гордые работницы завода такого-то и фабрики такой-то. Всем было весело, лица и глаза горели воодушевлением и счастьем. Сорокин смотрел на них и тоже улыбался, но не понимал: чему они... и чему он... Так много народу, кроме войны, он видел в родном Омске на Пасху на крестных ходах, в майские народные гулянья в городском саду и на берегах Иртыша; были флажки, но не красные, а разно цветные, и не было демонстраций. И пьяненьких было поменьше.

Он смотрел на демонстрацию и понимал – это он воевал с ними. Получалось так!

Когда демонстрация рассеялась, уже к обеду, он пошёл в портовый район и встретился с человеком Гвоздецкого. Встреча была в дымной пивной, Сорокин отказался от водки, но кружку пива выпил с удовольствием, пиво было вполне приличное. Человек, после того как под столом сунул ему плотно завёрнутый в клеёнку и перевязанный бечёвкой пакет, заказал водки и стал её пить. По разговору, он был из бывших, и, когда выпил полбутылки, склонился над столом и стал кричащим шёпотом жаловаться на советскую власть. Сорокин сказался, что ему надо в туалет, и ушёл.

Михаил Капитонович шёл вдоль песчаной дороги, и всё явственней становился запах горелого. Дорога была пустая, и, пройдя версту или около того, он понял, что она и будет пустая. Уже никого не боясь и не боясь оставить следов, он пошёл по ней.

Он ошибся – застава от того места, где он ночевал, оказалась близко. Туман поднялся, воздух стал прозрачнее, пробивались лучи солнца и, отраженные в лужах, резали глаза. Он прошёл ещё немного и увидел выломанные, опалённые деревянные ворота: одна створка

косо висела на верхней петле, другая валялась. Это была застава. Когда он туда зашёл, стал накрапывать дождик. Застава была большая, на её территории была казарма, конюшня и ещё несколько деревянных построек, между ними в середине был большой песчаный плац. На плацу лежали мёртвые солдаты. Он подошёл к ближнему, это был молодой солдат, лет двадцати, он лежал на спине с расплосованным животом. Казак, который его убил, дал шпоры коню, тот взялся в галоп, казак поднял коня на дыбы, склонился с седла и горизонтальным скользящим ударом подрезал солдата, а потом встал в стремях и уже падающего его ударил шашкой наотмашь сверху поперёк плеча – старый казачий приём. Таких, которых казаки, взорвав ворота и ворвавшись на плац, застали врасплох, лежало несколько, рядом с ними лежали их трёхлинейки.

Дым поднимался от самой дальней постройки, и Сорокин пошёл туда. Это оказалась кухня, её никто не поджигал, но, видимо, в неё бросили гранату, та попала в печь, взорвалась, и кухня загорелась. В кухне среди тлеющих головешек лежали две мёртвые женщины и один солдат. Сорокин вышел из кухни и направился в длинный сарай, который был конюшной. Лошади как ни в чём не бывало стояли в денниках и жевали сено, казаки их не тронули. «Как же, тронут казаки лошадей!» – подумал Михаил Капитонович. Он заглянул за конюшню и обнаружил человек около двадцати расстрелянных, все были босые и в нижнем белье. Дальше по периметру плаца была канцелярия, она была сильно разрушена, наверное, её закидали гранатами, её правое от крыльца крыло подломилось и лежало косо накрытое крышей. Сорокин встал на крыльцо, выбитая дверь валялась в маленьких сенях, и была открыта дверь налево, он не стал заходить, скорее всего, там была квартира, где жила семья начальника заставы: подходя, Сорокин увидел на окне занавески и на подоконнике горшки с цветами. Михаил Капитонович только заглянул в левую комнату и отшатнулся: в комнате лежали женские и детские тела. «Да, – подумал он, – здесь казаки порезвились!» Он сбежал с крыльца, дальше осматривать было нечего, и вдруг ему на ум пришла мысль: «Зачем я сюда пришёл, потратил время? Мне надо совсем не сюда!.. И скорее всего, с границы могут возвращаться наряды! Если схватят, представляешь, что с тобой будет? Кто будет разбираться, с казаками ты или нет?» Он нащупал в кармане маленький браунинг, который в любом случае оказался бы бесполезным, и вспомнил: «Погляди, как мрачно всё кругом...» Строчка, пришедшая на память, была из какого-то давно услышанного и забытого стихотворения, но дальше он не помнил. Он только подумал: как правильно – «мрачно» или «страшно»? «Погляди, как страшно всё кругом...» То, что он видел, больше подтверждало оправданность слова «страшно», и тогда он вспомнил ещё: «Лёгкой жизни я просил у Бога...» «Или «ты, – подумал он, – просил у Бога?»» В это время дождь стал накрапывать сильнее, из тайги потянуло свежестью, и небо потемнело. Он посмотрел на небо и подумал, что всё-таки: «Как мрачно всё кругом...»

Он пошёл к воротам, прошёл их, и вдруг до его слуха донёлся знакомый звук, которого он уже давно не слышал. Он заглянул за висевшую створку ворот и увидел маленького котёнка двух или трёх недель от роду, мокрого, как будто облизанного, с большими, стоящими торчком ушами. Котёнок смотрел на него круглыми глазами и дрожал. Он присел и погладил его. Котёнок нырнул головой под его ладонь и попытался зацепиться за неё лапкой. На шее у котёнка была повязана красная ленточка. «Наверное, у командира заставы были дочки», – подумал Сорокин и вспомнил детские тела, лежавшие в жилом помещении канцелярии заставы. Михаил Капитонович поднял котёнка, прижал его к груди и побежал на кухню, там он ногой разметал тлевшие головешки и нашёл молочную лужу, вытекшую из пробитого на уцелевшем краю печки котелка. Он поставил котёнка на ноги рядом с этой лужей, ткнул его мордой в молоко и ушёл.

Лёгкой жизни я просил у Бога:

«Погляди, как мрачно всё кругом».
Бог ответил: «Погоди немного,
Ты ещё попросишь о другом».

Пока он шёл к воротам, в его сознании сложились эти строчки, и он вспомнил, где их услышал: это было на снегу у костра под Красноярском, когда в девятнадцатом красные разбили армию генерала Сахарова.

Михаил Капитонович придавил пальцем бумагу, изнутри на сальном пятне проявились мелкие точки, как будто бы бумага оттуда была засижена мухами. «Вот, – подумал он, – всё-таки эта стена глиняная, а не кирпичная! А сейчас придёт старик!»

– Фставай, бай э! – Шаги старика в матерчатых тапочках были неслышные, а голос проскрипел прямо в ухо. – Или исё цяньги плати, моя другой трупка неси! Та мади!

Михаил Капитонович решил не отвечать и сел на кане. Кан был низкий и холодный, никто, даже китайцы, летом не топят. Старик стоял над ним, и Михаил Капитонович его толкнул. Старик раскрыл беззубый слюнявый рот, и Михаил Капитонович встал и ударил его.

Он вышел из опиекурильни под громкие визги всех китайцев, которые там были: и старика подавальщика, и его старухи жены, и старухи дочери, и старика внука. Какие же они были все старые и крикливые – прямо одинаково, и воняло от них так, что Михаила Капитоновича стошнило здесь же на пороге. Когда он сплюнул последнюю тягучую слюну, вытер пальцем губы и пальцы вытер об штаны, китайцы замолчали.

«Вот вам, черти косоглазые!» – не оглядываясь, подумал он и пошёл по узкому проходу между кирпичными стенами. Это были внутренние заборы запутанного лабиринта, по которому он вышел на 15-ю улицу Фуцзядяня. Светило солнце, почему-то оно садилось за Сунгари, то есть на севере, а не на западе, но Михаила Капитоновича это не смутило, он этого даже не заметил. Был уже конец августа, и вечера стали короткими, но он не заметил и этого.

На улице было много китайцев, одни китайцы: они шли по тротуарам, они на мостовой погоняли запряжённых в тележки ослов, они сами тянули тележки, их расталкивали бегущие рикши... Куда-то все эти китайцы так спешили. Михаил Капитонович никуда не спешил – у него кончились все деньги, которые он получил от Гвоздецкого. И он вспомнил стихотворение целиком, когда в опиумном мороке его носило с прижатым к груди мокрым котёнком:

Лёгкой жизни я просил у Бога:
«Погляди, как мрачно всё кругом».
Бог ответил: «Погоди немного,
Ты ещё попросишь о другом».

Вот уже кончается дорога;
С каждым годом тоньше жизни нить:
«Лёгкой жизни ты просил у Бога,
Лёгкой смерти надо бы просить!»

«Лёгкой смерти! Ну что же, пусть будет так – если смерти!»

Не видя дороги, он шёл по тротуару и толкнул старую китайку, сидевшую на стульчике; старуха боком упала со стульчика и стала шевелиться, пытаясь встать. Он попытался ей помочь, но кто-то толкнул его, и он тоже упал.

– Как вам не стыдно, вы же русский человек, а совсем потеряли человеческий облик! – услышал он. Это была правда, за прошедшее лето Михаил Капитонович сильно поизносился, и от костюма, который он купил на полученные от Гвоздецкого деньги, остались лишь лохмотья.

«Откуда он знает, что я русский? И не всё ли ему равно?» – подумал Михаил Капитонович и почувствовал, что его тянут под локоть. Он опёрся на руку человека, который его толкнул, а сейчас помогал, и поднялся.

– Давайте поднимем её, а то, понимаете ли, неудобно, – всё же мы у них, а не они у нас. – Сказавший это человек был очень высок, молод и, что было не часто для русских в Фуцзядяне, отлично одет. Михаил Капитонович смотрел на него – это был Серёжа Серебрянников.

– Вы меня знаете? – спросил Серебрянников, видя, как Сорокин внимательно на него смотрит и не отводит глаз. – А, постойте! – Серебрянников толкнул Михаила Капитоновича в плечо и тут же ухватил его за рукав, потому что Михаил Капитонович стал падать. – Думаю, если вас отмыть, то вполне сойдете за поручика Михаила Капитоновича Сорокина... Нет?

Михаил Капитонович глупо улыбнулся и кивнул.

– Ну, тогда идёмте со мной, помните адрес: улица Садовая, 12, угол Пекинской?

Улица Садовая, 12, угол Пекинской

Серёжа Серебрянников отмахивал длинными ногами и не оглядывался. Сорокину было трудно за ним поспевать, он задыхался. Он хотел задать вопрос, куда тот делся из эшелона, но не получалось сформулировать, и тогда он неожиданно спросил:

– А чем вы занимаетесь?

Серебрянников на ходу оглянулся:

– Лечу взрослых людей от сифилиса и гонореи и изгоняю лобковую вошь!

– А меня вылечите? – спросил Сорокин.

– А у вас что? – Серебрянников шёл так быстро, что Сорокин гнался за ним вприпрыжку.

– Не знаю, но скорее – последнее.

– Это просто, – ответил Серёжа, – бритва и керосин!

«Зарежет и сожжёт!» – поёжился Сорокин.

Серебрянников неожиданно остановился, и Сорокин уткнулся в его спину ниже лопаток.

– Тогда вот что! – Серебрянников повернулся и упёрся взглядом в Сорокина. – На Садовую мы сейчас не пойдём... «Как хорошо!» – с облегчением подумал Сорокин.

– ...А пойдём ко мне в кабинет, у меня там приличный душ, оскоблим вас, а потом... вам надо переодеться! Тогда можно и на Садовую!

Душ действительно оказался приличный: чистый и горячий. Когда Сорокин открыл оба крана – он не разобрал обозначений: красная и синяя точки, – на него хлынула ледяная вода, которая в момент сменилась кипятком. Сорокин ойкнул и отскочил. Серебрянников из кабинета прокричал, что открывать надо понемногу и сначала холодную воду.

– Спасибо! – пробурчал Сорокин, стал осматривать краны и обнаружил предательские цветные точки. – А что такая? – прокричал он, хотя укрученный душ уже не шумел.

– Это немецкая система с газовым нагревателем, красная – горячий! И... побреетесь сами? Или позвать санитарку?

Сорокин обомлел.

– Какую санитарку? – спросил он, от упоминания «санитарки», не «санитара», а именно «санитарки», у него свело зубы и онемел язык.

– Обыкновенную! Санитарка – звать Тамарка! Глафира!!! – закричал Серебрянников.

– Не надо! Не надо никаких санитарок, я тут голый совсем!!! – проорал Сорокин.

Занавеска отодвинулась, и сверху из-под потолка на него смотрел Серебрянников.

– А что, вас скоблить... когда вы оденетесь? – Он задвинул занавеску. – Ладно, сначала вымойтесь, только не вытирайтесь! Поняли? А то как же вас намылить?

– А сколько ей лет? – Сорокин попробовал рукой струю, его ещё била дрожь.

– А какое вам до этого дело? Вы же на процедуре! Глафира!!!

– Што, Сергей Платонович?

– Дайте этому молодому человеку бритвенный прибор, он попробует сам, он стесняется!

– Ну и пусть его! – услышал Сорокин.

Женский голос прозвучал так близко, как будто бы санитарка по имени Глафира, а никакая не Тамарка стояла уже через занавеску. Занавеска сдвинулась, Сорокин в ужасе шарахнулся, чуть не поскользнувшись на мокром кафельном полу, на него смотрела толстая, приземистая немолодая баба в белом колпаке, который сидел у неё на бровях и ушах, и в ярко-белом халате, натянутом на оплывшее тело, как резиновый.

– Тута и скоблить-та неча, да и стесняются оне, как дитя малое.

Санитарка Глафира сунула Сорокину свёрнутое вафельное полотенце. Сорокин, не отрывая левой руки, которой прикрывался, протянул правую, свёрток был большой, Сорокин не удержал его, вернее, удержал за угол, свёрток размотался, и всё, что в нём было, упало на мокрый кафель.

– Оне ищё и безрукай! – пробормотала Глафира, махнула рукой и утиной развалочкой повернулась к выходу.

Сорокин двинул назад занавеску и поднял с пола большой кусок, судя по цвету и запаху, дегтярного мыла, бритву и раскисший пакетик с тальком. «Ничего, управлюсь и без Глафиры», – подумал он и после этого с наслаждением подставил под горячие струи сначала лицо, а потом плечи.

Из душа Сорокин вышел насухо обтёртый и одетый в исподнее.

– Я, как мог, сделал, Сергей Платонович! – крикнул он. – Осталось только голову!

– Ну, с головой Глафира справится, – ответил Серебрянников и вошёл в перевязочную. – Садитесь на кушетку... Глафира! Несите машинку!

В перевязочную снова вошла Глафира и за несколько минут обкорнала голову Сорокина ручной машинкой для стрижки.

– Ну вот! – сказал Серебрянников и протянул Сорокину тёмный флакон. – Так и быть, поскольку нам на Пекинскую – разорение с вами, – вот приличная мазь, вместо керосина. У меня, знаете ли, супруга беременная и не переносит резких запахов! Вы... мы сейчас с Глафирой выйдем, раз вы такой стеснительный... а вы намажьте этой мазью сами знаете где, а потом мы устроим на вас примерку. Идём, – сказал он Глафире и слегка ткнул её в бок. Глафира, не оборачиваясь, отмахнулась от Серебрянникова, тот оглянулся на удивлённо глядящего на это Сорокина и хитрюще ему подмигнул.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.